

ГЕОРГИЙ
ВЛАДИМОВ

БОЛЬШАЯ
РУДА



Георгий Владимов

БОЛЬШАЯ РУДА

ПОСЕВ

Обложка Вадима Филимонова

© Possev-Verlag V. Goracheck KG, 1984
Printed in Germany

Он стоял на поверхности земли, над гигантской овальной чашей карьера. На нем была рыжая вельветовая куртка на "молниях" и штаны из белесой парусины, с застиранными пятнами извести и мазута. Рукой он придерживал кепку, низко надвинув ее на лоб, чтоб не сорвал ветер.

Тень облака скользнула вниз, упала на пестрое, движущееся скопище машин и людей, погасив блеск металла и сверкание стекол. Тень проползла по холмистому дну карьера, подернутому дымкой, — через россыпи желтого песка, голубовато-свинцовой глины и обломки расколотых глыб цвета запекшейся крови — и стала выбираться наверх, обгоняя взлет деревянных лестниц. И умчалась в зеленую степь, к перелескам и хуторам, затерявшимся на горизонте.

Тени шли косяком, и ни одна не могла накрыть сразу весь карьер, но парень, стоявший наверху, видел не это. Он видел пыльную дорогу, петляющую по дну и по склонам, и бесконечную вереницу грузовиков, проделывающих в дыму и реве этот замысловатый путь, чтоб вывезти наверх щепотку глины

или песка. Грузовики двигались медленно, с одинаковыми интервалами; казалось, дорога сама, извиваясь, тащит их вверх на себе, а хвост ее все отрасывает в темных глубинах.

— Тут работы — мама родная! — громко сказал парень. И, выругавшись витиевато, просто так, от избытка чувств, пришел к выводу: — Не может быть, чтоб я здесь не окопался.

Он пошел краем пропасти, топча траву, сощывая вниз комья сухой глины. Карьер медленно поворачивался под ним, открывая свои закоулки, затянутые дымом и пылью. Затем парень оглянулся на него из зарослей молодого дубняка, увидел тонкую ребристую стрелу экскаватора, чиркнувшую по облакам, и пошел напролом, раздвигая ветви локтями. Листья хлестали его по лицу. Он вышел на просеку и перепрыгнул глинистый ров. И снова увидел карьер, от которого никак не мог уйти, но не весь, а лишь другой его берег, с белыми и желтыми пластами, едва различавшимися вдали, — так широка была чаша и так густо она курилась.

В ров из длинной ржавой трубы, висящей на деревянных подпорках, падала вода. Он наклонился и захватил ртом струю, от которой заломило зубы. Вода была чистая и прозрачная, она вовсе не пахла никакой "химией", как думал он раньше, хотя ее откачивали из железистых недр. Ее называли здесь врагом номер один, но парень, напившись, зарычал от удовольствия и, сдернув кепку, смочил и пригладил пятерней свои прямые, светлые, мягко распадавшиеся пряди.

Он шел, посвистывая, помахивая кепкой, не отряхнув с куртки тяжелых брызг, и все, что он видел и слышал, нравилось ему: и эта широкая

просека с отпечатками руствованных шин на песчаной дороге и шелестом листвы, который мягко глушил звяканье и скрежет карьера; и разбросанные в редком лесу, выкрашенные в желтое и синее дощатые строения парикмахерской, столовой, ларьков, и самое большое из них, с вывеской, начертанной малиновыми буквами по темно-зеленому полю: "Контора Лозненского карьера"; и кусты смородины под окнами, распахнутыми настежь, откуда неслись звонки телефонов, треск машинок, голоса и выстипался табачный дым.

Когда-то на месте рудника был сад, потом молодые деревья перенесли, а старые просто вырубили, только две молоденькие яблони возле конторы никому не мешали, их оставили расти. Но никто не ухаживал за ними, и за три года, что здесь велись вскрышные работы, яблоньки успели одичать. Он подобрал в траве несколько мелких опадышей, но есть не стал, на них и смотреть было кисло, только подержал на ладони.

Отсюда он видел всю выездную траншею, наклонно убегающую между крутыми глинистыми откосами, ослепительно блещущую под солнцем. В конце ее появлялись нагруженные самосвалы — сначала будто картонные, плоско темневшие в дымно-солнечной синеве, а потом постепенно обретавшие плоть, и мощь, и грозную величину, когда они, взревывая, набирали ход и проплывали мимо, попирая землю упругой тяжестью могучего колеса.

"Не может быть, чтоб я здесь не окопался! — опять подумал парень. — Врешь, никто меня отсюда не повернет".

Начальник карьера был молод, очкаст, долговяз и давно не брит. Под столом было тесно его ногам, обутым в баскетбольные кеды, и он сидел, откинувшись, в застегнутом парусиновом пиджаке и мятым соломенным брыле. На столе перед ним был телефон с рукояткой зуммера и ничего больше. Из одного угла рта в другой ходила огромная самокрутка.

— Тоже на работу? — сурово спросил начальник.

Парень, который только что вошел к нему, молча выложил перед ним старое удостоверение шофера, выданное в саперной автороте. Он имел и другие права, но армейские действовали вернее.

Начальник придинулся и кивнул.

— Дальше.

Но парень не склонен был спешить. Он подождал, чтобы начальник мог увидеть талон предупреждений, ни разу еще не проколотый. Затем появилась трудовая книжка, раскрытая там, где можно было понять, что предъявитель сего возил кирпич на Урале и взрывчатку на строительстве Иркутской ГЭС. Ту страничку, где говорилось о его работе в таксомоторном парке города Орла и на санаторном автобусе в Ялте, он решил не показывать, покуда не спросят.

— Послушайте, Пронякин, — сказал начальник, — почему вы со мной хитрите? Я же вас помню. Вы были у меня вчера. На что вы надеетесь? Что я близорукий? Но фамилии-то я все-таки запоминаю. Или думаете, я у вас что-нибудь другое спрошу? Представьте себе, тот же вопрос: какая у вас специальность?

- Шофер, — убежденно сказал Пронякин.
- Вижу, что не парикмахер. Но кто? Карбюраторщик? На дизельных самосвалах ведь не работали?

Пронякин решил сесть. Это значило, что разговор будет по душам. Но начальник не склонен был говорить по душам. Он хмурился и ждал ответа.

— Не приходилось, — сказал Пронякин. Это было все-таки лучше, чем сказать "нет"; просто не представилось случая.

— Разговора у нас не будет, — твердо сказал начальник и отодвинул документы. Он говорил рыкающим баском, срывающимся, однако, на диксант, хотя, конечно, давно прошли времена, когда голос у него ломался. — Я знаю, вы приехали по объявлению, какой-то кретин в "Известиях" раззвонил на весь Союз: 'Приезжайте! КМА—КМА! Милости просим!' А нам вот расхлебывать, поворачивать народ от ворот. Что делать? Мы уже раз шесть объявления давали: "Требуются дизелисты", да кто там фильтки наши заметит?..

"Я-то заметил, — подумал Пронякин, понимающе кивая ему, — только от ворот ты меня не повернешь".

— Вот так, Пронякин, — сказал начальник, вздыхая. — Бортовых машин у меня нет, а на самосвалах ты не работал.

- Это верно...
- Ну вот, я рад, что ты наконец понял.
- ... однако же и девять лет за бараккой — тоже не псу под хвост.
- А я ничего и не говорю. И вообще, это не от меня зависит. Отдел кадров все равно не оформит.
- Ну, это не скажите! Начкарьера тоже фигура не последняя.

— В данном случае, к сожалению, последняя, — просто сказал начальник. Он прикрыл глаза красными веками. — Пока нет руды, дорогой мой Пронякин, последняя... Последняя, кого можно драить с песком и трепать за хохол, потому что крыть-то ей, собственно говоря, нечем. Будет руда — будет власть. А покамест мы только просим. Можешь поверить, я с тобой по-человечески говорю. Вот — два месяца назад по нашей заявке оформили несколько шоферов из колхозов, бравые ребята, но в дизелях — ни бельмеса, напортачили Бог знает как. Так что теперь вопрос ребром: знаешь самосвал — садись; не знаешь — будь добр, поучись где-нибудь, тогда и приезжай.

— Да уж, видал я, как тут ездят, — вставил Пронякин.

— Вот так, — сказал начальник. — Понял теперь?

— Когда же она будет, руда? Может, ее и ждать недолго. А я уеду...

— Сказать по секрету, Пронякин, я тоже очень, очень хотел бы знать, когда же будет руда. Но я не знаю. И, как видишь, говорю об этом прямо. Этим я, наверное, и отличаюсь от других знатоков. Ошибки, конечно, быть не может, даже думать нельзя об этом. Ожидаем со дня на день, и этот день уже тягнется второй месяц. Ждали на семьдесят пятом метре. Черта с два! Ждали на восьмидесятом... Потом обещали нам на восемьдесят третьем, божились — это-то уж наверняка. Ну, выбрали несколько глыб — для рапорта, конечно, хватило, — но ведь большой руды нет! Это же, как мы говорим, не промышленный уровень. Понимаешь ли ты все это? Доходит оно до тебя?

— Дошло уже.

— Ну и чудесно. Я ведь чего хочу? Чтоб ты на меня не обижался.

Он помолчал, побарабанил по столу длинными обкуренными пальцами. Потом улыбнулся неожиданно мягкой улыбкой, сразу сказавшей о его возрасте и о том, каково ему сейчас на его месте.

— Что, невеселые вещи я тебе говорю, Пронякин? А мне, ты думаешь, весело? Иной раз сидишь вот так, и какая только чертовщина не полезет в голову. Думаешь — а есть ли она там, большая руда? А может, ее и нету?..

— Как это нету? — тоже улыбаясь, спросил Пронякин. — Раз божились — значит, должна быть. Куда же ей деться?

— Конечно, — сказал начальник. — Куда же она денется? Куда же она уйдет?..

Улыбка уже ушла из его глаз. Он сильно затянулся самокруткой, поплевал на нее и, бросив на пол, придавил резиновым каблуком. Потом задумался, глядя куда-то поверх и мимо Пронякина и рассеянно похрустывая суставами пальцев.

— А знаете, что я скажу вам, начальник? — сказал Пронякин. — Никуда я от вас не уеду.

— Ну что ты, Пронякин. Это ты лучше брось.

— Брошу, так сами же и подберете. Я завтра опять приду. И послезавтра приду. И послепослезавтра. Выгоните — вернусь. А не вернусь — сами же меня позовете.

— Очень может быть. Когда будет руда. А пока — пойми, нет базы для разговора. И учти — за дверью другие ждут.

Они в самом деле ждали своей очереди, парни в пиджаках и куртках, съехавшиеся по объявлению и слегка обалдевшие от всего, что они увидели

здесь. Они подпирали из коридора фанерную стенку и разговаривали нарочито весело и небрежно, скрепляя беззлобной матершиной распадающуюся речь.

— Слыхали? Такие же бедолаги, как я, — сказал Пронякин. — Нас, шоферов, что нерезаных собак развелось. Ну кто теперь не шофер! И разве же вы им что-нибудь другое скажете? То же самое, что и мне.

— К сожалению, так.

— Только не знаю, как они, а я от вас никуда не уйду. Некуда мне уходить. Намотался, намыкался, поверх головы хватит. Да и поистратился я на дорогу, обратно — веришь ли? — не на что ехать. Вот как хочешь...

— Ты что, в заключении был? — спросил начальник.

— Покамест Бог миловал. Я к делу, к месту хочу определиться. Я работать могу, как мало кто. Я как услышал по радио про ваши дела, так и сказал: "Стоп, Витька! Это как раз, значит, для тебя. Никуда ты не денешься, кроме Курской аномалии. Тебе руду эту самую добывать".

— Что вы все, как один, заладили мне про добычу? Ведь руды-то нет!

— Не говори таких слов, товарищ начальник! — сказал Пронякин торжественно. — Не нынче, так завтра, а будет руда. Такое, понимаешь, вот у меня лично впечатление.

Начальник поглядел на него с любопытством и полез в карман за табаком, но вытащил только пыльную крошку и расстроенно заморгал.

Пронякин молча положил на стол пачку "Беломора".

— Ты знаешь, Пронякин, — сказал начальник,

вытягивая машинально папиросу, — у меня тоже такое впечатление, что вот-вот должна быть большая руда...

— Так, — подумал Пронякин. — Ты уже спекся”.

— А как же! — сказал он непрекаемо. — Куда же ей, заразе, деться?

— Вот что, Пронякин, — сказал начальник. Он чуть-чуть повеселел и ерзal на своем скрипучем стуле. — Отдел кадров тебя действительно так не оформит. Но я тебе советую: сходи в автоколонну, разыщи там Мацуева, бригадира. Смена у них сегодня ночная, но он-то наверняка в гараже. Не знаю, может, какой-нибудь завалященький “мазик” он для тебя подберет. А потом будем сочинять ультиматум в рудоуправление. Но если там откажут...

— Понимаю.

— Нет, — начальник помотал головой, — не понимаешь. Ты еще намучаешься с этим “МАЗом”, заранее тебе говорю. Это у нас, так сказать, отживающая тягловая единица.

— Что же, на них совсем ездить нельзя?

— Почему нельзя? Машина-то прекрасная, добрая, лучше любой десятитонки. Только норма на нее по-уродски составлена. Пока только начинали рыть, еще ничего было, не жаловались “мазисты”, а теперь мы уже на восемьдесят пять метров зарылись, километраж вон как увеличился, да и крутизну дорог надо учесть, а нормы оставлены прежние. Вот и ездят у нас пятеро великомучеников. Ты, если оформишься, шестой будешь. Только они с верхних горизонтов возят, а тебе придется с нижнего. Понял теперь? Устраивает?

Пронякин пожал плечами.

— Где наша не пропадала. И долго мне хуже всех будет?

— Не знаю, — сказал начальник. — Одно из двух: либо руду достанем — тогда уж нормы пересмотрят, — либо раньше все "МАЗы" изведем. Я лично на руду надеюсь. Я уж сказал тебе: будет руда — будет власть.

— Ну что ж, меня это тоже устраивает.

— Заявление у тебя готово? Давай подпишу... Эхе-хе... Напишу: "Не возражаю". Большего, к сожалению, не могу.

Тут зазвонил телефон, и начальник, подняв трубку, зажал ее между щекой и плечом. Должно быть, ему сообщали что-то тревожное, потому что он начал густо темнеть, и рука его все не решалась поставить подпись.

— Так, — говорил начальник. — Так... Так...

Пронякин двумя пальцами подвинул бумажку. Выцветшие глаза взглянули на него коротко и бесполково, но рука быстро и размашисто расписалась. Пронякин осторожно вытянул из-под нее заявление.

— Скажите там, чтоб не ждали! — крикнул начальник вдогонку. — Больше принимать не буду...

Пронякин уже не слышал его. Выйдя на крыльце конторы, он увидел те же медлительные тяжелые облака, яблоньки, пригнувшиеся под ветром, и стенды с портретами передовиков и цитатами из их обязательств, прислоненные к низкой ограде. Те же и все-таки уже не те. Он двинулся не спеша к киоску с газированной водой и бросил мятую рублевку на мокрый алюминиевый поднос.

— Два с сиропом.

Облокотившись, он смотрел на продавщицу. Она

мыла стаканы с деревенской тщательностью и без той хлесткой ловкости, которая отличает городских продавщиц. И сироп она наливала аккуратно.

“Дура, — спокойно подумал он. — Счастья своего не знаешь. Эх, сюда бы женульку определить, она б тебе показала. У нее б потекла копеечка”.

— Не надоело еще? — спросил он, принимаясь за второй стакан.

Она взглянула быстро, с диковатой застенчивостью, широко взмахивая выгоревшими ресницами.

— Чего?

— Сидеть тут, говорю, не надоело еще? Такая молодая, тебе бы в самый раз на экскаватор пойти или на кран.

— Не берут.

“Все ясно, — подумал он. — Держаться за место не станешь”.

— Возьмут, — сказал он убежденно. — Не посмеют не взять.

Она вдруг улыбнулась, так же застенчиво и диковато.

— Ну да!

— Научный фактор. Книжки читай.

— А я читаю. Как никто не подходит, так я и читаю... То так и целый день, бывает, читаю.

— По ночам тоже читай. Возьмут.

Он вышел на дорогу. Был пересменок, и самосвалы на своей слоновьей скорости двигались порожняком по бетонке, огибавшей лес. Он дождался бортовой машины с людьми и, еще не дав ей притормозить, рывком подскочил в кузов. Кто-то потянул его за куртку, и, опираясь привычно на чьи-то плечи и головы, он пробрался к борту и растолкал

для себя местечко. Люди в машине сидели на корточках, и он тоже присел — дорога уже была освоена мотоциклистами ОРУДа.

За лесом возникли гаражи автоколонны, а за ними — наклонные галереи и висячие фермы дробильной фабрики.

— Постучите-кось, кто поближе.

Кто-то забарабанил по крыше кабины. Пронякин спрыгнул и тотчас свернулся под арку серых кирпичных ворот. Вдоль гаражей двумя длинными шеренгами стояли самосвалы с поднятыми кузовами. Они напоминали готовые к залпу "катюши". Несколько шоферов чистили кузова лопатами. Пронякин спросил у них, как найти Мацуева. Провожаемый их взглядами — они, разумеется, оставили работу и обсуждали его появление, — он шел мимо высоких радиаторов, достигавших его макушки, мимо оловянных медведей, задиравших на него лапу как по команде, и чувствовал себя уже наполовину причастным к этим свирепым машинам.

Мацуев вышел к нему из темной глубины гаража. Он был не выше Пронякина, но очень широк в кости и весьма внушителен со своей тяжелой квадратной головой и лохматыми, насупленными бровями. Пронякин молча протянул ему свое заявление. Мацуев коротко покосился на бумажку и стал неторопливо разглядывать самого Пронякина, обтирая ветошью голые до локтей, волосатые руки. Наконец он спросил хрипло:

— Взял тебя Хомяков?

— Не знаю, — осторожно ответил Пронякин. — К вам послал. Вы, мол, решите, брать или не брать.

— Ишь ты, — сказал Мацуев, не усмехаясь. Он надолго занялся своими обмасленными руками.

Пронякин тоже внимательно смотрел на эту ветошь, как будто немало зависело и от нее.

— Такое дело, — сказал наконец Мацуев. — "Мазик"-то у меня действительно есть незанятый. Только его, понимаешь, чинить надо. Сильно надо чинить. В общем, тут механик требуется.

— Вот он и стоит, — улыбнулся Пронякин. — Перед вами.

— И диплом есть?

— Диплома нету. Руки есть.

— Ага, — сказал Мацуев. — Так, значит? Ну что же. Почкинишь, мне покажешь, тогда и будем решать.

— И, предупреждая вопрос, добавил: — Ремонт, само собою, оплатим.

— Само собою, — сказал Пронякин. — А где он, "мазик"-то? Хочу на него поглядеть.

— А чего на него глядеть-то? Его чинить надо. Глядели уж многие, не помогает. Ты, подумай, а завтра приходи.

Он двинулся было обратно в темную глубину гаража, но Пронякин неуловимым движением загородил ему дорогу.

— А все ж поглядеть-то можно? Не развалится. Я бы сразу и чинить начал.

— Прямо сразу?

— А чего ж тянуть?

— Ишь ты, — опять сказал Мацуев. Он швырнул ветошь в ящик с песком и улыбнулся наконец Пронякину. — Ну пошли. Только зажмурь глаза, ежели из робких.

"МАЗ-200" — двухосная широкорылая машина — был и на самом деле устрашающ. Нужна была старательная, воистину мастерская работа, чтобы так растрясти рессоры, помять кузов, избить ободья

колес. Нагнувшись и поглядев на карданный вал, Пронякин только присвистнул.

— Кто же это такое допустил, а?

— Ездил на нем один, сукин дьявол, — пояснил Мацуев и сплюнул. — Ну, опять же, дороги здесь, сам знаешь, какие. Да и груз деликатный.

— Тут не в дороге дело. И не в груэ. Бить надо по мордам за такую езду.

— Кто ж говорит. Конечно, надо. Только за всеми дураками не уследишь. В общем, гляди сам. Не понравится — обижаться не стану.

— Возьмусь, — сказал Пронякин. — Такая моя планида.

— Подумай, — посоветовал Мацуев, уходя. — Я не тороплю.

И как только он ушел. Пронякин быстро открыл кабину и влез на широкое раздавленное сиденье. Это было просто необходимо ему — подержать в руках огромную баранку, ощутить ее шершавость и теплоту и чувство уверенности в себе, точно это и есть те самые рога, за которые берешь судьбу. Он сразу увидел и непомерный люфт руля, и что оборвана тяга педали и не работает спидометр, закончивший счет километров задолго до того дня, как машина испустила последний вздох. "Э, да не в том суть, — сказал он себе, — зато уж никакая собака не скажет: приполз на готовенько. Оно, конечно, против "ЯАЗы" трехосного я бы ничего не имел... Да кто же тебе его даст, Пронякин?"

Оставив в кабине куртку и кепку, он обошел машину со всех сторон, попинал носкомувядшие баллоны, затем подошел к радиатору и поднял капот.

— Мама родная! — сказал он почти весело.

Эта состарившаяся телега начинала ему нравиться. Он вытащил из кабину сиденье и, положив его под машину, полез за ним на четвереньках.

Заглянув сюда через полчаса, Мацуев услышал веселое посвистывание.

— Ну как? — спросил Мацуев, присаживаясь на корточки.

- Страх и ужас. Катафалк моей бабушки.
- Откажешься, стало быть?
- Даже наоборот. Беру.
- Думаешь, пойдет машина?
- У меня пойдет. Зверь будет, а не машина.

Пронякин выбрался из-под машины ногами вперед и сел, прислонясь спиной к высокому колесу. Он улыбался, на щеках и на лбу блестели иссиня-желтые пятна смазки. Старенькую майку он тоже успел запачкать.

- Понимаешь, чем она больна? — спросил Мацуев.

— Двигатель, честно говорю, не смотрел, не дизелист; виджу только, что грязи много. Но рулевые тяги гляди-кося, как покорежены — обухом, что ли, он их подправлял? Теперь — у карданвала, у заднего, шлицы поистерлись, а погнутость — в полпальца, не меньше; биение, видать, страшное. В коробке передач трещина внизу, это и сам видишь, масло течет. Ну, а про задний мост и говорить нечего, вал — так просто рукой проворачивается. Уж куда хуже! Сателлиты, что ли, повыкрошились.

— Понимаешь ли... — Мацуев смущенно почесал в затылке. — Может, их там и нету, сателлитов.

- Куда ж они делись?

— Понимаешь, его одно время списать хотели. Ну, каждый и тащил, чего хотел. В общем... недоглядел я. Это уж я маленечко обратно его подсо-

брал, чтоб хоть божеский вид имел. Теперь-то мы его и на день запираем...

Пронякин усмехнулся и махнул рукой.

— Ты чему улыбаешься? — спросил Мацуев. — Тут плакать нужно.

— Привычки нету. В армии и не такое приходилось чинить. Дефектная ведомость на него составлена?

Мацуев опять почесал в затылке.

— Дефектная ведомость, понимаешь, есть. А запчастей нету. Вот какая история. В армии-то, наверно, были?

— Это верно.

— Вот то-то. Так что не зря я тебе говорил — подумай.

— А на свалках? — спросил Пронякин.

— Как везде. Что ты, на новых стройках не был? Поищешь — найдешь. Чего не найдешь — наменяешь, "мазисты" и в других бригадах есть. Ну и мы, конечно, от своих "ЯАЗов" кой-чем поделимся. Ну, что еще? Мастерская у нас хоть и слабенькая, а своя. Ты возьмись только.

— Взялся уже, — сказал Пронякин. — Я от своего не отступаю.

Они помолчали. Мацуев смотрел на него, почему-то виновато помаргивая. Пронякин выволок сиденье и положил его в кабину.

— Ты где устроился? — спросил Мацуев. — В гостинице?

— В коттедже, едят его клопы.

— Тебе в общежитие надо переходить.

— Да ведь не примут, пока на работу не поступлю.

— Поступишь. Будь уверен.

Пронякин вежливо промолчал. Он надел куртку

и, сощелкивая ногтем приставшие ворсинки ветоши, ожидал, что еще скажет Мацуев.

— Не знаю еще, какой ты механик, — сказал Мацуев. — А машину, видать, любишь. Уважаешь ее.

— Как не уважать, ежели кормит. Для меня машина — тот же человек, только железный и говорить не умеет.

— А как же! — сказал Мацуев. — Тот же человек... Ну, а как с дизелем обращаться, я тебе на своем "ЯАЗе" покажу. Освоишь. Книжки, какие нужно, у меня возьмешь.

— Книжки есть у меня. С собою вожу.

— Ишь ты. Ну валяй, я тут еще покручуясь. Может, какие запчастишки все-таки подберу для тебя. Завтра приходи к восьми. А коменданту в общежитии скажешь: Мацуев, мол, просил пристроить пока. Не откажет. — Он помолчал, пошевелил мохнатыми толстыми бровями. — Жинка есть у тебя?

— Имеется, в одном экземпляре.

— Это хорошо. Жинку со временем вызовешь, ежели захочет она. Покамест в общаге поживете, а там, может, и комнатка будет... Ты, часом, не из летунов?

— Был. Надоело.

— Ну, это самое верное. Это я и вижу.

Он протянул толстую растопыренную ладонь, в которой совсем спряталась сухая и жилистая рука Пронякина.

3

Тем же вечером он забрал свой чемодан и котомку из коттеджа — так называлась бревенчатая двухэтажная изба для приезжих — и перешел в общежи-

тие — так назывался длиннейший дощатый барак с террасой и скамейками у крылечка, стоявший в длинном ряду таких же бараков.

В общежитии он пощупал простыни, покачался на пружинах койки и посыпал трещины в обоях порошком от клопов. Над изголовьем он приколотил полочку для мыла и бритвы, повесил круглое автомобильное зеркальце и по обеим сторонам его, с симметричным наклоном, фото Элины Быстрицкой и Бриджит Бардо. За фотографии он тоже насыпал порошка от клопов.

Комната была на шестерых, но он застал лишь одного из соседей, который лежал поверх одеяла в комбинезоне, положив ноги в сапогах на табурет. Так спят обычно перед сменой. Сапоги распространяли жирный сырой запах тавота и глины, и Пронякин распахнул окно. Ему не нравилось, когда в комнате пахло работой.

Он решил написать жене, пока не вернулись соседи. Он вырвал листок из школьной тетради и, присев к столу, освещенному тусклой, засиженной мухами лампочкой, отодвинул обрывок газеты с огрызками кукурузы и мяты картофельной шелухой.

“Дорогая моя женулька! — вывел он с сильным наклоном влево и аккуратными закорючками. — Можешь считать, что уже устроился. Дали пока что старый “МАЗ” двухосный, но я же с головой и руками, так что будет как новый и прилично заработаю. Есть такая надежда, что и комнатушку дадут, хотя и здесь многие есть нуждающие. А я бы лично, если помнишь наш разговор на эту тему, своей бы хаты начал добиваться. Хватит, намыкались мы у твоих родичей, и они над нами поизгилялись, хотя

их тоже понять можно, так что хочется свое иметь, чтобы никакая собака не гавкала..."

Сосед зашевелился на койке и замычал. Должно быть, ему снилось плохое. Пронякин взглянул на часы и принялся его тормошить. Сосед открыл один глаз и уставился на Пронякина младенческим взором.

— Ты кто?

— Я-то? Ангел Божий. Сосед твой. Гляди-кось, смену проспал.

Сосед посопел немного и меланхолично заметил:

— Ну и брешешь.

Он открыл второй глаз и, почмокав пухлыми со сна губами, приподнял наконец лохматую голову.

— Пошарь-ка в тумбочке, опохмелиться ребятишки не оставили?

— Сами выпили да ушли.

— Такого не может быть, — объявил сосед после некоторого раздумья.

— Значит, может, ежели так оно и было. А ты и без опохмела хорош будешь. Ветер нынче свежий, мигом развеет.

Сосед встал наконец на подкашивающиеся ноги и покачался из стороны в сторону, разгоняя сон.

— Тебя как звать-то? — спросил Пронякин.

— А тебя?

— Виктором.

— А меня Антоном. Будишь, а не знаешь, кто я и что я.

— Ты на чем работаешь? — спросил Пронякин. Он твердо знал, что тот не шофер, хотя и не мог бы объяснить, почему он это знает.

— На "ЭКГе", — сказал Антон. — Машинистом.

— "ЭКГ-4" был экскаватор. — А ты у Мацуева?

- У него как будто. Ежели не прогонят.
- Ну, вместе будем, — сказал Антон. — Тебе сегодня не идти?
- Сегодня нет.
- Ну и гуляй. А чего тебе делать?
- Я и гуляю.

Антон засунул в карман полотенце и пошел в кухню, шаркая коваными сапогами. Пронякин подождал, пока заплескалась вода в кухне, и быстро открыл тумбочку. Рядом со скатанным грязным свитером стояла початая четвертинка. Он стиснул зубы. Вот чего он боялся и что ненавидел, как может бояться и ненавидеть человек, уже однажды опускавшийся до последней степени и сумевший подняться неимоверным усилием и который по-прежнему себе не доверяет. "Нет уж, — сказал он себе, — старое не случится, последний мужик будешь, ежели случится". Но он знал, что это может случиться, если кто-нибудь рядом, в одной с ним комнате, пьет. Он вынес четвертинку к окну и, перевернув ее горлышком вниз, злорадно слушал, как булькает внизу, в темноте.

Он поставил бутылку на место и принялся вновь за свое письмо: "... А перспективы, как я узнавал, здесь большие, со временем завод metallurgический построят, поскольку руды, говорят, тут на тысячу лет хватит, а может, и больше, она тут до самого центра земли все тянется. И места хорошие. Конечно, с уральскими или сибирскими не сравнишь, но жить можно, и речка есть, рыбку помаленьку ловят..."

Антон вернулся посвежевший и причесанный по-модному. Он выглядел очень юно со своими сахарными зубами, волнистыми прядями и мальчишес-

ской нетронутостью. Он подошел к тумбочке и, подумав, открыл ее.

— Гляди-ка, и в самом деле ни хрена не оставили. А?

Он посмотрел на Пронякина вдумчиво и подозрительно.

— Могу дыхнуть, — сказал Пронякин.

— Дыши на здоровье, — сказал Антон. — Комендант у нас любитель водку забирать. Только он с бутылкой забирает. Придется за печку прятать, что ли.

— Придется за печку.

— А не сгорит?

— Думаю, не сгорит, — сказал Пронякин. — Ну, может, так, немножко испаряться будет.

— А ты в шахматы играешь? — спросил Антон. Он обладал счастливой способностью быстро забывать свои огорчения.

— Нет, не играю.

— Давай сыграем, — сказал Антон. Он уже вытряхивал фигуры на стол.

— Опоздаешь ведь.

— Давай работай, больше проговоришь.

— Сказал же — не умею.

— А я, думаешь, умею?

Пронякин накрыл письмо тетрадью. Он уже понял, что так ему не отделаться. Фигуры были огромные, точно играли не люди, а самосвалы. Одной пешки не хватало, и Антон заменил ее куском бурого камня, синеватого на изломе.

— Это что? — спросил Пронякин.

— Руда, — ответил Антон. И первый пошел конем, хотя у него были черные.

Почему он начинал конем, трудно было понять. Должно быть, он ему нравился реальным сходством с лошадью.

Через минуту Пронякин взял у него этого коня и кусок руды, а еще через пятнадцать ходов, очень хитрых и достаточно примитивных, загнал короля в угол и принял за свое письмо.

”... Ты шифоньер продай, чего за него держаться, а кровать никелированную мы и в Белгороде купим, себе же дороже везти. Но денег особенно не жалей, до Рудногорска лучше таксишника найми, а если компания подберется, то будет совсем недорого. И приезжай, не медли, а то я уже по тебе, честно, соскучился...”

Антон мучительно думал. Он еще не догадался, что уже получил мат.

— А вот так? — спросил он, с торжеством двигая ладью.

— Иди к Богу в рай, — сказал Пронякин. — Припух ты давным-давно.

— Брешешь.

— Ну сиди, думай.

Но Антон не стал думать. Он поверил Пронякину на слово.

— А говорил — не умеешь. Чудак! Но ты мне все-таки нравишься.

— Ты мне тоже.

— А по новой? — спросил Антон.

— Иди к Богу в рай.

Пронякин терпеливо ждал, когда он уйдет. Но он вернулся и просунул голову в дверь.

— На танцы пойдешь?

— Пойду, — нехотя отозвался Пронякин.

— В тумбочке у меня галстучек — девки прямо стонут. Только гляди, чтоб они его помадой не заляпали.

И ушел наконец, грохая сапожищами в коридоре.

”... Может, здесь-то и заживем, как мы с тобой мечтали, — выводил Пронякин. — И все у нас будет, как у людей. Но и прошлую нашу жизнь забывать не будем. Жду тебя скоро и остаюсь уверенный в твоей любви любящий муж твой Пронякин Виктор”.

Он заклеил письмо и, выйдя, опустил в ящик на фонарном столбе. Потом распаковал чемодан и оделся в темно-синий костюм, купленный проездом в Москве. Костюм сидел на нем неважно, но была сильная надежда на Антонов галстук, который и впрямь оказался выше всех ожиданий. Он зачесал свои длинные пряди, побрызгался ”Шипром” и положил в кармашек, уголком вверх, надушенный платок. В зеркальце он увидел свой глаз, разрезанный несколько косо, смуглую твердую скулу и трудную складку возле широкого коричневого рта. Он никогда не задумывался, красив ли он, он хотел знать, выглядит ли он прилично.

Таким появился Пронякин на танцплощадке Рудногорска — на пятаке асфальта, шагов двадцати в диаметре, посреди огромного холмистого пустыря. Пустырь имел большое будущее, он находился в центре поселка и мог рассчитывать на звание главной площади города. Но пока он был завален грудами щебня и дранки, заставлен штабелями кирпича и фанерными симметричными строениями известкового цвета, с необходимыми индексами ”Ж” и ”М”. Проходя этим пустырем в полдень, когда по асфальту расхаживали гуси и козы и девочки играли в классы, Пронякин мог бы подумать, что здесь едва хватило бы места для двадцати пяти или тридцати танцующих пар. Но вечером, к его приходу, их было восемьдесят или сто, а парни и девчата все подходи-

ли из темноты с непреклонным намерением взять свое.

Он побродил вокруг да около и выбрал себе девицу, которую никто не приглашал. Это, впрочем, вполне сходилось с его правилами. Самых ярких следовало остерегаться, если ты вызвал к себе жену. В отъездах он позволял себе кое-что и помимо танцев, но там он и не боялся чужих языков.

— Протиснемся или с краешку? — спросил он ее.

— Мне все равно.

Но ей было не все равно. Ей хотелось протиснуться. Ей хотелось быть поближе к свету, чтобы ее видели с ним.

— Тогда протиснемся. — Он взял ее за руку, и они протиснулись и заняли случайно освободившийся вершок. — Так — хорошо?

— Так хорошо.

Радиола сыграла бразильскую самбу и начала несравненную "Тишину". Пары пошли медленно и по кругу, и он тоже повел свою даму по кругу, крепко держа ее руку у запястья. Он не был уверен, что это нравится ей, но так, он видел, танцевали в Белгороде.

— Давно вы здесь? — спросил он, чтобы что-нибудь спросить. — Имею в виду: в Рудногорске.

— Не знаю. Мне кажется, очень давно. А на самом деле всего лишь третий месяц. Как видите, не с первого гвоздя, как любят здесь говорить.

— Понятно, — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— И еще здесь любят говорить: "практически неисчерпаемо". Это — о руде. У вас еще будут какие-нибудь вопросы?

Ему не нравилось, что она все время шурится,

улыбаясь. Как будто тусклый свет фонаря мог решать ей глаза. И лоб у нее был слишком высокий и выпуклый.

— Пока что не имею, — сказал он.

“Тишина” кончилась. Но пары не расходились. На “пятачке” становилось все теснее.

— Ничего не поделаешь, — сказала она, — вам придется весь вечер танцевать со мною. Нам уже не выбраться отсюда.

— Тогда уж познакомимся. Виктор.

— Маргарита. Но лучше зовите меня просто Ритой... Если вам это интересно, я немножко стесняюсь своего имени. Мне хотелось бы какое-нибудь простое-простое имя... Ну, не обязательно Глафира или Прасковья, но хотя бы Маша или Ольга.

— И так сойдет, — сказал он слегка насмешливо.

Радиола завела какой-то мексиканский фокстрот. Ребята — в клетчатых пиджаках, ковбойках и просто в майках — танцевали, энергично оттопыривая зад и притопывая одной ногой; лица у них были страдальчески-вдохновенные. Девчата посмеивались и переговаривались друг с другом. Они не принимали танец так близко к сердцу.

— Нравится вам здесь? — спросила она.

— Есть, пожалуй, где и повеселее.

— Не знаю. Я жила в Москве. Ну, еще в Ленинграде. Но это — в детстве, когда мама называла меня Марго.

Со всех сторон на них напирали, толкали, и невольно она прижималась к нему низкой и мягкой грудью. Это было не очень приятно, потому что он совсем ничего к ней не чувствовал. И потом ему как-то трудно было представить себе ее в детстве.

— Девчонки наши воют: нет того, нет другого, безумно скучают по Москве. Но в конце концов для чего мы сюда приехали? Разве не для того, чтобы чувствовать себя участниками большого, настоящего дела? Разве это не радостно? Я им это каждый день говорю.

— А они что?

— А они? "Чувствуем, радостно, только в театр хочется". Или "на каток". Но это у них, конечно, пройдет. У меня это давно прошло. И мне здесь живется как-то окрыленно. Приятно ведь написать маме: "Мы уже прошли пласти сеноман-альба, аптеокома, пробились к самому келловею".

— Что вы говорите! — вежливо изумился он. — Неужели к самому келловею?

— Что значит "к самому"! Уже давно штурмуем. А вы разве здесь недавно?

— Второй день.

— Вы, наверное, экскаваторщик? Или взрывник?

— Водитель на самосвале.

— Ну, все равно. Вам тоже предстоит штурмовать келловейский пласт, пробивать окно в руду. Если бы знали, как я вам завидую!

— А у вас, простите, какая специальность?

— Горнячка. Этой весной окончила институт. Но я работаю не на карьере. В рудоуправлении. Готовлю документацию к чертежам, всевозможные исходящие, если запрашивают Москва или Белгород. А они запрашивают чуть не каждый день. Не знаю, может быть, вам это покажется скучным. Но, наверное, моя работа нужна, если меня сюда поставили?

— Наверно, нужна... Даром же не поставят.

Радиола опять завела "Тишину".

— Нужно уметь во всем находить хорошее, — сказала она. — Вот посмотрите, кто-то повесил радио выше фонаря, и его в темноте не видно. Можно подумать, что музыка льется откуда-то с неба, правда?

Он посмотрел вверх. В конусе фонарного света бились ночные мотылки. Ночь была темна, ни одна звезда не пробивалась сквозь облака, и едва достигал сюда свет дальних домов и бараков. Больше он ничего не увидел и посмотрел на нее. Она была вся захвачена танцем и раскачивалась, задумчиво сощурясь и напевая. В нем шевельнулось что-то вроде восхищения, он хотел бы так уметь говорить, как она.

— Ничего пластиночка, — сказал он, кивая вверх.
— Берет. Держит.

— К сожалению, это последняя. Уже одиннадцать, а наш радиост очень пунктуален.

“Тишина” кончилась, и в громкоговорителе послышался щелчок. Но шарканье ног по асфальту еще продолжалось. Пары не расходились. Они танцевали без всякой музыки.

— Собака он, ваш радиост, больше никто, — сказал Пронякин. — Меня б туда посадили, так я б до утра заводил. А почему нет, ежели народу хочется?

Она мягко улыбнулась, округляя губы.

— Мало ли чего нам хочется. Может быть, его ждет жена или еще кто-нибудь. Или он думает о тех, кому рано вставать на работу. Все ведь можно объяснить по-хорошему, правда?

— Что же он, лучше их знает, чего им надо? Инструкция у него, вот и закрывает лавочку.

Она опять улыбнулась ему.

— Боже, как вы мне напоминаете наших девчо-

нок. Даже слова те же: "инструкция", "лавочка". И "вот я бы!" "вот мы бы!". Но разве можно скучить, жаловаться, если живешь среди таких людей?

— Каких же это?

— Ну, которые живут настоящим делом, делают его своими руками. Они иногда бывают грубыми; я видела, как они пьют, участвуют в драках, сквернословят. Но это потому, что им не приходит в голову взглянуть на себя. Сколько в них настоящего рабочего благородства! И в вас оно есть.

— Черт его знает, — сказал он, — не замечал.

Но ему было приятно думать, что в нем есть благородство. Ему это как-то не приходило в голову.

— Есть, — сказала она убежденно. — И давайте потанцуем, как все. Без музыки. Ведь и в этом есть своя прелест, правда?

Шарканье ног по асфальту все продолжалось. Шарканье и дробный разноголосый говор, в котором каждый не слышал соседа. Потом где-то близко, в темноте, пиликнула и заскрежетала гармошка.

Кто-то из парней неподалеку от них закричал:

— Миша пришел!.. Давай, Миша, наяривай!

И все закричали тоже:

— Сыпь, Миша, не жалей!

— Миша, лучший друг, поработай. Чего тебе стоит!

— Мишенька, иди сюда, милый, мы тебе конфетку дадим...

Пронякин увидел Мишу. Он продвигался между парами ходом шахматного коня, раздвигая их костлявым плечом, — в черной бархатной курточке и необъятных брезентовых галифе, в правленных в кирзовые сапожищи. На голове у него блинном сидела замасленная артиллерийская фуражка. Он рас-

тягивал и сжимал маленькую писклявую гармошку, как машина, заведенная на тысячу оборотов, и ухмылялся блаженно. Из-под Мишиных пальцев, корявых и заскорузлых, выходило что-то среднее между танцем лебедят и саратовской "матаней".

— Что это за тип? — спросил Пронякин.

— Это Миша, — сказала она. — Володя Хомяков за что-то прогнал его с карьера, и он теперь работает при бане. А мне жалко его. Он просто не нашел своего места в жизни.

Пронякин пожал плечами.

— Ну, положим, Володя Хомяков знает, кого выгнать, а кого принять.

Миша остановился как раз против них и смотрел в упор, улыбаясь слюнявой улыбкой. Двух передних зубов у него не хватало. Он раздирил гармошку, не останавливаясь ни на секунду.

— Эй ты, хмырь! — крикнул Пронякин. — Ты играй по-человечески! Понял?

— Гы! — сказал Миша.

— Ты еще что-нибудь умеешь играть?

— Умею, — сказал Миша. И заиграл то же самое, только громче.

Вдруг он заорал:

— Кралечку нашу затростили! Увести хотят!

Вокруг засмеялись. Должно быть, кому-то здесь Миша казался острозвоном. Но Пронякину вдруг очень захотелось украсить Мишина рот еще двумя щербинами. Он двинулся к Мише, мгновенно рассвирепев, но Рита удержала его, с неожиданной силой вцепившись в рукав.

— Не надо, не злитесь на него, мы лучше уйдем. Уже ведь поздно.

— И то правда, — сказал Пронякин, так же мгно-

венно остывая. Он почувствовал благодарность к ней. Хорош бы он был, если бы связался с дураком.

Не переставая наяривать, Миша кричал им вслед:

— Кралечку увели, я ж говорил! Держи вора-босяка-а-а!..

Впрочем, на него недолго обращали внимание. Танцующие пары двигались, шаркая, плотной массой по кругу. Пыль поднималась над ними и таяла в конусе фонарного света.

— Провожу, что ли, — сказал Пронякин.

— Не нужно меня провожать, — сказала она быстро и как бы испуганно. — Я не хочу, чтоб вы думали, что мне это нужно. Ведь вы из приличия, правда?

Он не нашелся, что ответить. Он смотрел ей вслед и, когда она заслоняла тускло-оранжевый свет подъезда, видел, как она странно изгибается всем телом и как высоко держит голову. "И не споткнется, — подумал он, усмехаясь. Но в усмешке его было что-то вроде восхищения. — Наверно, и правда, Бог таких бережет".

Она прошла весь грязный неровный пустырь, заставленный битым кирпичом и железным ломом, и, не оглянувшись, быстро исчезла в подъезде.

Соседи Пронякина уже спали мертвецким сном. Он встал на пороге, морщась от их разноголосого храта и запахов — нефти, глины, сыромятной кожи и пота, — бивших в нос наповал. Натыкаясь на табуреты, путаясь в голеницах сапог, разбросанных по всей комнате, он пробрался к окну и распахнул форточку. Затем он раздевся, аккуратно уложил костюм в бумажный чехол и вывесил на спинку кровати брезентовую робу.

Где-то близко по улице прошли гурьбой, хрустя по щебню, и голосами, оловянными и старательными — парней, звонкими и смеющимися — девчат, завели песню:

Забота у нас простая-а-а...
Забота наша такая...
Пошла бы руда большая —
И нету других забо-о-от!..
И снег и вете-е-ер...

Но "ветра" не вытянули и рассмеялись и пошли дальше.

Пронякин лежал и курил, медленно передумывая все события этих последних дней, с тех пор как он попрощался с женой на вокзале в Горьком, где она работала буфетчицей, и уехал, оставив ее у родственников, чтобы оказаться здесь, в этой комнате, среди чужих. Папироса его выжигала зигзаги в темноте, петляя и возвращалась к его губам.

"Это все уже ненадолго" — думал Пронякин. "Это все" была комната с рассохшимися обоями, запахами и храпами и его собственная неустроенность, которую он всегда чувствовал сильнее в разлуке с женой. — Это все уже ненадолго. Домик здесь заимеем; может, ссудой какой помогут. И чтоб все было в доме — холодильничек, телевизор, мебель всякая. А со временем-то, может, и машинку свою заведем. Но это, впрочем, уже идиллия. — Этим словом он называл все несбыточное. — Это уже идиллия, известно же: сапожник всегда без сапог. А вот пацанов своих пора бы действительно заводить: ведь уж тридцать скоро, а женульке и того больше. Ей-то ребенка надо, скоро все годы

выйдут... Ничего, все будет. Только бы не споткнуться где. Не споткнуться бы. А там уж я сам себе свой. Лиха беда начало. А споткнуться можно очень даже просто, и тогда снова — езжай, ищи, жди..."

Он лежал, опустив руку с папиросой к полу, и слушал, как ветер гремит чем-то железным на крыше. Он заснул, и папироса погасла и выпала из его руки.

4

Мацуев действительно подобрал для него запчасти и положил их в кабину "МАЗа". И каждую из этих прекрасных вещей Пронякин подержал в руках, неторопливо прикидывая, много ли это или мало и не свалял ли он дурака, взявшись за ремонт. Это был бы, конечно, неплохой комплект для всякой годной машины, но не для "МАЗа", в котором, наверное, живого места не было. По-настоящему Пронякин еще не видел его, на то нужна была полная разборка, и от нее-то все зависело, потому что в конце концов не стыдно было бы и отказаться и поехать в другое место, где, быть может, повезет и дадут новую машину. Но это он только обманывал себя.

В тот же день "МАЗ" отбуксировали к смотровому люку, лебедка сняла с него платформу кузова, кабину и двигатель, приподняла раму, из-под которой слесари выкатили передний и задний мосты, и Пронякин, вооружась отвертками и ключами, принялся разбирать. К исходу второго дня он увидел свой "МАЗ" по-настоящему, когда уже и "МАЗа"-то не было, а была только груда частей, узлов и деталей, едва уместившаяся на стеллажах.

Тут он увидел все его раны, болячки и язвы, все сколы, забоины и трещины, все погнутости и вмятины и его святая святых — рабочие поверхности цилиндров, бывшие когда-то зеркальными, а теперь покрытые нагаром и сыпью. Тогда он понял, что никуда не уйдет.

Он сел на бетонный пол в мастерской и горестно замотал головой.

— Ах, сука...

Ни черта он не понимал, тот, кто ездил на этой машине, а другие, кто понимал, пришли потом, и, конечно, им было уже не совестно "раздевать", растаскивать по кускам искалеченное существо, которому вряд ли воротишь и жизнь, и прежнюю силу. Пронякин не стал распутывать концы, он просто пошел к тем, на кого намекнул Мацуев, и попросил их вернуть детали, снятые с его "МАЗа". Одни вернули их, стыдливо и молча. Другие потребовали доказательств и хорошо, с большим чувством, посмеялись над ним. Впрочем, они легко соглашались на обмен.

Но ему пока нечем было меняться, и он присмотрел и обшарил несколько автомобильных и экскаваторных свалок, где можно было кое-что разыскать, если не брезгать и ковыряться часами, разгребая щепкой мусор и гниль, и если потом отмыть детали в бензине, опилить заусеницы или сделать наплавку и отшлифовать на станке. Он оставлял себе то, что садилось впритирку, остальное шло в оборот и понемногу, по крохам, заполняло пробелы в дефектной ведомости.

Понемногу и все эти шесть тонн металла, пластмасс и резины приобретали рабочий облик и благородный рассеянный блеск деталей — когда Проня-

кин и слесари убирали с них черную маслянистую грязь и нагар, когда смывали накипь в рубашке охлаждения едкой каустической содой и прочищали миллион отверстий, каналов и трубочек щетинным ершом или ветошью, намотанной на проволоку, когда заваривали крупные трещины сталью, а мелкие протравливали кислотой, а потом зашлифовывали абразивами и наждачной теркой, когда заливали изношенные втулки баббитом и вулканизировали мясистую резину камер.

И постепенно у него отлегло от сердца. "МАЗ", конечно, не был такой машиной, которую под силу доконать самому ледающему портачу, и при всех его ранах и ссадинах в нем далеко еще не было той глубокой усталости металла, которую и не заметишь снаружи и от которой единственное лекарство — переплавка.

Слесари в мастерской, наверное, чувствовали это. Наверное, это было у них в пальцах — умение видеть металл на ощупь и знать, что ты не работаешь зря и возвратишь ему прежнюю крепость. Они были чуточку склонные и в меру ленивые ребята, эти четверо слесарей, с большой склонностью к философии, которая размагничивает руки, потому что приходится ими махать. Но они все-таки что-то умели и не задавались этим; они очень быстро поняли, что он бы, пожалуй, мог обойтись и без них, а они без него — едва ли. И, пожалуй, они не провернули бы всю эту адову работенку за неделю, если бы он не торчал у них над душой и не подменял их во время затяжных перекуров.

Он приходил в автоколонну с первой сменой и вертелся до поздней ночи, убегая только на час — пообедать и пройти с Мацуевым очередной урок

обращения с дизелем. Но наконец настал день, когда они прикатили оба моста, и таль поставила на место кабину и собранный двигатель. Пронякин подвел к нему патрубок топливопровода и подсоединил электропроводку. Он хотел все сделать сам. Но руки у него неприлично дрожали, потому что этот момент был исполнен для него таинственности, и теперь уже слесари торчали у него над душой, рассуждая на тему "Пойдет или не пойдет?"

Двигатель провернулся с поцелуйными звуками, потом заворчал и чихнул.

— Будь здоров! — сказал Пронякин. — Сейчас я тебя подкормлю.

Тогда он взревел, мгновенно окутавшись синим выхлопом, и Пронякин сел на пол, чтобы немного успокоиться.

— Куда ты торопишься, чудак? — спросил он и рассмеялся счастливым смехом. — Ты же еще не родился.

Но "МАЗ" уже родился. Он ревел, содрогаясь нетерпеливо, хотя еще был ободран и "не одет" и стоял всеми четырьмя ногами на домкратах и опорах. Ему хотелось на волю, и слесари, наверное, тоже поняли это; они пошли и открыли ворота пошире, и солнечный свет стеной встал на пороге, не в силах двинуться дальше, в темную и сырую глубину гаража. И все-таки "МАЗ" откликнулся — вспыхнувшим блеском стали, меди и смазки и матовым сиянием белого чугуна.

Они оставили двигатель обкатываться и ушли в мастерскую, но время от времени Пронякин, сорвавшись с места, прибегал сюда и без конца что-нибудь регулировал. Он никак не мог сказать себе "хватит", он не мог наглядеться и наслушаться,

хотя слесари уже посмеивались над ним. Теперь в сравнении с тем, что было сделано, оставались сущие пустяки. Оставалось сбрать и поставить скаты, починить платформу и заклепать листовой сталью пробоины и ржавлины в кузове. Потом еще раз добыть дерматина и дратвы и цыганской иглой залатать сиденье. А напоследок он решил поставить новый спидометр, со счетчиком на нуле, чтобы он отсчитывал километры с первой его, Пронякина, ходки. И, конечно, он должен был сделать его трехцветным, не как у всех, потому что, ей-Богу же, "мазик" имел на это право — за все свои страдания.

Он купил несколько банок краски — серой, темно-зеленой и черной — и выкрасил машину с великими трудами, сам заляпавшись с головы до ног. Рама у него была черная, а кузов серый — подумав, он нанес еще зеленую полосу, похожую на ватерлинию, — крылья тоже серые, и такие же ободья колес, только еще с зеленой каймой, а капот и кабина, наоборот, зеленые, с черными и серыми стремительными зигзагами. Высунув язык, он разглядывал свою работу. Теперь он узнал бы свой "МАЗ" среди тысячи других.

А все-таки чего-то еще недоставало. Он подумал, почесал в затылке и понял, чего недоставало. "МАЗу" недоставало теперь оловянных зубров на капоте, великолепных барельефных зубров, напруживших немыслимо могучие загривки. Кто-то безжалостно содрал их, Бог весть для чего, и Пронякин, конечно, не в силах был примириться с тем, что зубров этих не будет. Это было бы чертовски обидно — когда у всех они есть. Этого никак нельзя было себе представить. Поэтому Пронякин отправился к "мазис-

там" и перенес контуры зубров на промасленную бумагу, а потом вырезал их из листового дюраля и прикрепил к боковинам капота.

За этим занятием и застал его Мацуев, когда пришел принимать работу. Молча он обошел машину со всех сторон, осмотрел силовую передачу и механизм подъема кузова. Потом запустил двигатель и поднял капот. Он слушал, наклонив голову и помаргивая, как покупатель в магазине прослушивает пластинку. Пронякин смиренно стоял поодаль, чумазый и похудевший, но весь его вид говорил о том, что ездить на этой машине должен только он и никто другой.

— Н-да, — сказал Мацуев. — В третьем цилиндре вроде как бы шумок у тебя лишний. Подрегулировать бы маленечко форсунку, а?

"Шумок, говоришь? — подумал Пронякин. — Вот был бы тебе шумок, и не лишний, если бы не нашел дурака, как я. "Мазик"-то на твоей совести".

Но бригадир был бригадиром, поэтому Пронякин наложил ключ на винт регулятора и повернул его чуть влево, а потом — слегка заслонив рукавом — чуть вправо.

— Теперь хорош?
— Теперь другое дело.
— Может, на ходу попробуем? Хоть и не просох еще...

— Попробуем, — сказал Мацуев, закрывая капот.
— Садись за руль.

Пронякин вывел "МАЗ" за ворота. Он вывел его прекрасно, потому что двери гаража были узковаты, а двор заставлен самосвалами, и он ни разу не ездил на таких тяжелых машинах, где ты сидишь непривычно высоко, точно на троне. Потом они поверну-

ли к дробильной фабрике, проехали мимо ее висячих галерей и ферм, мимо кассетного заводика, который делал бетонные панели для строительства поселка, и Пронякин попробовал "МАЗ" на всех его пяти передачах, покуда не уперся в закрытый шлагбаум железнодорожной ветки. На обратном пути они поменялись местами, и теперь уже Мацуев попробовал машину на всех пяти передачах, благо бетонка была пуста в этот час. Мацуев был добрый водитель, но не фейерверк, совсем не фейерверк. Он не родился шофером, он просто стал им, а мог бы стать и машинистом на паровозе и слесарем в мастерской.

— Педали у тебя легковаты, — сказал Мацуев, когда они въехали во двор. — Чуть тронешь, и уже слушается. Может, потуже бы сделал? А то как бы он тебя по случайности не послушался.

"Ну, это уж ты блажишь, папаша", — подумал Пронякин и ответил коротко:

— Я так люблю.

— Ну, гляди сам, — охотно согласился Мацуев.

— Тебе же ездить, не мне.

— Значит, ездить все-таки?

— А то как же! Твой "МАЗ", чего и говорить. Теперь и отдел кадров препятствовать не посмеет. Да мы уж и так его уломали. Ты вот что, ступай-ка оформляйся до шести. Завтра медосмотр пройдешь и технику безопасности. А с понедельника, в первую смену, можешь и в карьер. Как раз и подсохнет машина. Ну и за ремонт я тебя не обидел. Вали, получай.

Но Пронякин еще не сделал последнего жеста.

— Ну что ж, бригадир. — Он щелкнул себя по шее

пониже уха. — Обмыть надо "мазика". Ты меня не обидел, я тебя уважу. А?

— Ни-ни, — сказал Мацуев. — У нас это, понимаешь, не заведено, чтобы подносить бригадиру из получки.

— Какая же это получка? Это ж за ремонт. Можно сказать, с неба вместе с "мазиком" свалились.

— Все равно, — вздохнул Мацуев. — Прознают, понимаешь, а бригада пока что без срывов. Ни на работе, ни в личном быту. Вот какая история.

— Понимаю, — сказал Пронякин. — Третья заповедь: "Не пей сам, пои ближнего".

У Мацуева затряслись плечи и заколыхалась грудь. Толстые лохматые брови поползли вверх, открывая острые слезящиеся глазки. Так Мацуев смеялся.

— А пивка? — спросил Пронякин. — Все же культурно!

Мацуев перестал смеяться.

— Насчет пивка — это культурно. Это можно. Только один я не пойду, ты уж всю бригаду приглашай.

— А я и приглашаю. В лице бригадира. Все чиненько. В воскресный день. Пиво, закусь, то да се. Культурно. Только где?

— В "зверинце", где же.

— Принято!

"Зверинцем" именовался в Рудногорске стандартный торговый павильон типа "Фрукты — овощи", отделанный дюралевыми панелями и железной кроватной сеткой. Задняя дверь его, куда обычно ходит продавец и вносятся ящики с товаром, была, наоборот, парадной, и вся полезная площадь принадлежала посетителям — не считая угла, где стояли

фанерный ларек и бочки. Здесь пили подолгу и говорили "за жизнь", роняя пивную пену на земляной пол, который в дождливые дни превращался в тягучее, смаочно чавкающее месиво. Здесь сводились счеты — очень немудреные счеты, стоимостью в два-три хороших удара по скуле, которые, однако, выполнялись в замедленном темпе и в несколько приемов, с беззубыми угрозами и маханием кулаками — до и после драки, иногда и вместо нее. Впрочем, особенно развиться здесь никому не давали и разводили обыкновенно на второй минуте.

В один из солнечных дней поздней осени сюда приползет гусеничный кран и, вздев эту клетку на высоту в три человеческих роста, перенесет на рыночную площадь для использования по прямому назначению. Зрелище будет веселым и чуть печальным, как всегда, когда кончается одна эпоха и наступает другая; и сам крановщик пропустит по этому случаю две последние кружки. Но в то холодное воскресенье "зверинец" еще стоял на прежнем месте, между столовой и строящейся трехэтажной гостиницей, и деятельно служил страждущим в роли стоячей забегаловки.

Пронякин пришел сюда королем, помахивая сотенными, в окружении всей бригады. На пустыре подле "зверинца" паслись бульдозеры и самосвалы, в самом павильоне было тесно и полутемно, и у ларька плотно группировались комбинезоны и ватники. Но Федька Маковозов, юноша как раз под потолок "зверинца", немедленно заработал мощными локтями, а Прохор Меняйло, Косичкин и Гена Выхристюк — "Гена Выхристюк из Мелитополя", как отрекомендовался он Пронякину, — тут же начали собирать гроздьями порожние кружки. Ан-

тон завладел бочкой и вызвался помочь продавщице. Это было куда реальнее, чем занимать очередь.

Завсегдатаи "зверинца" не преминули заметить:

— Мацуевцы гулять собирались! Что-то вас давно не видали.

Мацуев выставил вперед растопыренную ладонь.

— Мы и выпиваем, — сказал Мацуев, — и дело знаем.

— А жинка про то знает? — спросил парень в черном беретике и с полосами тельняшки в отвороте комбинезона.

— А ты поди доложи. Она хоть и женщина, а понимает: раз человек уважение хочет сделать бригаде, тут уж не откажешься.

— Так бы и говорил, — согласился парень в беретике, и остальные посторонились.

По живому коридору Пронякин прошел к ларьку и уперся в широкую спину Федьки. Федька повернулся к нему. На румяном губастом лице его было разочарование.

— "Столичной", говорит, нема. И "Особой" тоже нема.

— А что "ма"?

— Пиво и шампанское. Пошли к "Гастроному"? Что же ты, "мазика" шампанским будешь обмывать?

— Шампанское — это культурно, — сказал Пронякин. Он сунул голову в окошко и увидел пухлую зачуханную девицу в нестираной диадеме. — Девушка, нас тут семеро. Сделайте нам на все.

— Чего на все? — Она тупо смотрела на деньги. — Не понимаю, чего вы хотите.

"Конечно, не понимаешь, — согласился он про се-

бя. — Женулька б, та мигом поняла. И всем было б хорошо, и ей было б хорошо, и комар бы носа не подточил. Эх, сколько народу не на своем месте сидит!"

— По бутылке шампанского на персону. Закусь, я думаю, сообразишь сама? Сдачи чтоб не было, ясно?

Она сообразила наконец и выдала им гору соленых баранок и синевато-малиновой колбасы с ломтиками черного хлеба. Пивные кружки переходили по конвейеру.

И на том его миссия кончилась, теперь ему самое верное было скромно молчать, и слушать, и смотреть, как они пьют шампанское из пивных кружек. Кажется, они остались довольны. Один только Федька подошел к нему и, разглядывая вино на свет, глубокомысленно заметил:

— Ты знаешь, Витя, мы совершили большую ошибку. Взяли шампанское, а оно теплое. И какой нужно быть необразованной халявой, чтобы торговать теплым шампанским!

Пронякин молча кивнул. Он умел понимать тонкости этикета. Если тебя упрекнули в том, в чем ты не виноват, значит, ты безупречен.

Он стоял, потягивая не спеша из кружки, и думал о том, что его первый шаг удался и притом обошелся ему сравнительно дешево. Покажи себя сразу — это он твердо усвоил за свою жизнь, которая казалась ему достаточно долгой, — это легче и проще, чем показывать потом, когда мнение о тебе сложилось и, чтоб изменить его, ты должен будешь прыгнуть выше головы.

На другое утро он шел с ними в автоколонну, как свой, неторопливо и молча, как они. А мол-

чали они потому, что знали друг друга давно и хорошо.

Он сел в кабину и попробовал двигатель на малых оборотах. Двигатель завелся сразу, и стук был ровный и мягкий, одинаковый во всех четырех цилиндрах. Один за другим взревывали "ЯАЗы". Они выезжали по одному справа и выстраивались на бетонке в кильватер. Ветер завевал пыль на обочине, и Пронякин поднял стекла кабины.

Подошел Мацуев и приложился лицом к стеклу. Он улыбался слегка заговорщицки.

- Как жив? — спросил он.
- Порядочек! — ответил Пронякин.
- Ну валяй, — сказал Мацуев.
- Ага, — сказал Пронякин.

Он ехал последним в своей бригаде и на поворотах видел всю колонну. Самосвалы двигались, как танки, в свирепом рычании и в черном дыму, не ходко, но непреклонно. Казалось, ничто не остановит их. Но то один, то другой из них останавливался, если человек на обочине поднимал руку. В это время другие самосвалы обгоняли их, и перестроиться на узкой бетонке уже не удавалось. "Впредь буду сажать у базы, — приметил для себя Пронякин, — чтобы уже ехать с полной кабиной". Он был из тех шоферов, которые и мысли не допускают, чтобы отказать голосующему, но не хотел, чтобы его из-за этого обгоняли.

Лес остался позади, за ним промелькнула контора, яблоньки, и, не сбавляя хода, колонна вошла в карьер. Он стремительно раздвигался в прорези выездной траншеи и вдруг хлынул весь в глаза и в уши, чуть затуманенный и плоский, как горы на горизонте, и скрежещущий, лязгающий, ревущий.

Колонна распалась на отдельные группы машин, которые поползли, петляя, к своим экскаваторам, стоявшим на разных уровнях. Пронякин спускался шестым к своему, стоявшему в самом низу, в свинцово-голубоватом забое, и чувствовал странное волнение, хотя он знал и не такие дороги. И все же это не помешало ему заметить, как невыгодно подъезжать шестым. Он должен был дожидаться своей очереди, не выключая двигателя и не выходя из кабины, чтобы размяться, и время от времени подтягивать машину к экскаватору на один интервал.

Антон в своей остекленной кабине был весь на виду и безостановочно двигал рычагами.

— А, новенький! — приветствовал он Пронякина, сверкая сахарными зубами. Сбившаяся светлая прядь падала ему на лоб, уже вспотевший и розовый.

— Новенький, — сказал Пронякин, вылезая из кабины. — Только машина у меня старенькая. Так что гляди, сосед, сыпь по-божески. Понял? Чтобы и тебе было и мне.

— Сколько надо, столько и насыплю, — сказал Антон. — Не бойся, не обижу. Подставляйся!

Пронякин "подставился" и снова вылез — так полагалось по инструкции, на тот случай, если машинист промахнется и заденет ковшом по кабине, — и стал наблюдать, как тяжелый ковш, опускаясь, качается над его машиной, готовой закряхтеть и грузно осесть на рессоры. Ковш покачался и замер на мгновение. Его нижняя челюсть вдруг отвалилась бессильно, и грунт посыпался с тугим грохотом. Машина осела слегка. Но Антон не сразу отвел стрелу, он задрал ее выше, чтобы высыпать еще не-

сколько пудов глины, приставшей к закраинам стенок.

— Есть у тебя совесть, Антон? — закричал Пронякин, впрочем, только так, для порядка.

— А как же, — сказал Антон и дал длинный гудок. — Не вякай под руку, отъезжай.

Пронякин сел и, не закрывая дверцу, чтобы смотреть назад и под колеса, повел машину к выезду из карьера. Так он начал свой первый рейс.

К выезду вели метров семьдесят ухабистой дороги, проложенной по камню, по глине и песку, и затем песчаная разноцветная лента, извивающаяся по крутостям склона. Где-то на верхних горизонтах она переходила в бетонку. Перед глазами Пронякина маячил темно-зеленый "ЯАЗ" Федьки Маковозова. И по тому, что он слышал Федькин двигатель сквозь шум своего, Пронякин понял, что его "МАЗ" идет несравненно легче и что есть шанс немедленно "ободрить" Федьку. Сантиметр за сантиметром он подбирался к Федьке и наконец поравнялся. Федька что-то напевал с набитым ртом, откусывая от черной краюхи, и, увидев рядом лицо Пронякина, весело подмигнул. Затем на его лице — всегда полусонном, с вывернутыми губами и помидорным румянцем — отразилось беспокойство. Рука незаметно упала с баранки вниз, машина взревела и окуталась дымом, но это уже не помогло ей догнать уходящего Пронякина.

Пронякин оглянулся и сделал Федьке ручкой. Федька сердито шевелил губами за ветровым стеклом и сверлил пальцем висок.

— Мне же двадцать две ходки... — так же беззвучно объяснил Пронякин и показал на пальцах.

Федька хлопнул по лбу ладонью и показал вниз,

на обрыв. Тогда Пронякин все понял. Он обогнал на таком участке дороги, где Федькина машина оказалась с краю. Он сделал извиняющееся лицо и сбавил обороты, пропуская Федьку вперед. Но тут Федька и вовсе рассвирепел и, высунувшись чуть не до пояса, заорал:

— Куда ты пятишься, дура?! Куда? Уж ободрал, так не осаживай! Пшел вперед, душа с тебя вон...

Пронякин усмехнулся и легко оставил его позади.

Теперь перед ним покачивался и прыгал номер "БЕА 13-48". Но он еще не запомнил всех номеров и, лишь зайдя сбоку, узнал по сварному шву на кузове машину Косичкина. Он был самым опытным в бригаде, этот морщинистый и желтолицый, как старый японец, Косичкин. За глаза его так и называли — "японец". И всегда он был чем-нибудь недоволен. Здесь, на руднике, ему не нравилось. Не нравилось — и все. Собственный "ЯАЗ" ему не нравился. И шампанское ему тоже не нравилось, хотя он выпил все до капли. А нравилось ему вспоминать, как он служил на пожарной машине в маленьком городишке под Харьковом, и как его знал весь городишко, и что это была за работа. Раз в сутки он мчался, как угорелый, и показывал свой первый класс, а в остальное время лежал под машиной, приладив руки веревочной петлей к подмоторной раме, и спал. Или предавался размышлениям. Все проходившие мимо думали, что он там что-нибудь починяет, и изумлялись его трудолюбию. И еще, как он похвалился в "зверинце", за всю жизнь он не задавил даже курицы. Но вот нелегкая однажды вытащила его из-под машины и привела на этот карьер. И держит здесь, хотя ему все не нравится.

Пронякин подобрался к нему вплотную и стал обходить, повторяя свой маневр. Он увидел недовольно сморщеный лоб Косичкина, точно у того болел живот, и, сделав виноватое лицо, слегка осадил назад.

— Но-но-но! — закричал Косичкин и погрозил согнутым пальцем. — Ишь, закаруселил, циркач! Не на бульваре гарцуешь. С дамочкой. Шагом марш вперед, если тебе нравится!

— Слушаюсь, — сказал Пронякин.

— А будешь гарцевать, молодой человек... — начал Косичкин наставительно, но так Пронякин и не узнал, что станет с ним, если он будет гарцевать.

На втором витке дороги он достал Прохора Меняйло. Тот сидел, откинувшись, возложив на баранку худые ширококостные руки и вперив в даль озабоченный взгляд. У него были нестерпимо голубые глаза курянина. А за ухом торчала папироса. Неизвестно было, когда он ее выкуривает, но она всегда торчала у него за ухом. И всегда он был молчалив и сумрачен, и вертикальная складка резала его лоб с глубокими залысинами. Впрочем, Пронякин его понимал. Когда у тебя трое ребятишек и беременная жена, это располагает к глубокомыслию.

Пронякин стал обгонять, оглядываясь, спрашивая глазами, и Меняйло так же молча кивнул.

Чем выше, тем ровней и положе становилась дорога, и Пронякин, уверенно прибавив скорости, стал догонять Гену Выхристюка. Гена из Мелитополя почему-то нервничал. Он вихлял кормой и то и дело высовывался, отчаянно вертя стриженой головой на тонкой шее. Пронякин не знал, с какого боку к нему подступиться. Он посигналил Гене,

тот рассмеялся в ответ и выпустил из-под кормы шлейф дыма. Иссиня-черные клубы окутали кабину "МАЗа". Пронякин тоже рассмеялся и выругался, но осаживать не стал. На его счастье, по деревянной лестнице с третьего горизонта на второй спускалась женщина в синей стеганке, с малиновой папкой под мышкой. Должно быть, она принесла ее из конторы кому-нибудь из инженеров. Она остановилась, пропуская машины, и ее загорелые колени оказались как раз на уровне Выхристюковых глаз. Гена моментально исчез в кабине, и тотчас заскрежетали тормоза. Пронякин чудом на него не налетел.

— Эй, куряночка! — закричал Выхристюк, высываясь до пояса. Он оставил пиджак в кабине, и на нем поверх свитера зеленели подтяжки. — Садись, подвезу!

Он смотрел на нее с обожанием. Она тоже смотрела на него, кусая губы, чтобы не рассмеяться, и прихлопывая раздуваемую ветром юбку.

— Садись, а то ножки заболят! — сказал Гена заботливо и хрипло. — Ай-ай-ай, такие ножки и вдруг — заболят!

Остального Пронякин уже не видел. Опомнившись, Гена закричал ему вслед:

— Ты что? Ты куда? Ты почему??

"И чего шумят, спрашивается? — удивился Пронякин. — Знают же, что мне никак нельзя без обгона, и — шумят. Хотя, конечно, их тоже понять можно. Неприятно, когда обгоняют. Я бы и сам, наверное, пошумел".

Дальше пошла бетонка; Пронякин еще прибавил скорости и наконец его латаный и чиненый "МАЗ" подкрадся к первому самосвалу в бригаде. Первым шел Мацуев, и покуда Пронякин решил его не обго-

нять. Он шел чуть сзади и сбоку, стараясь все время видеть тяжелый подбородок и скулу водителя, но тут сам Мацуев, обернувшись, заулыбался и сделал приглашающий жест — проходи!

Несколько секунд Пронякин делал вид, что не понимает его, и все так же почтительно шел на треть корпуса позади. Тогда Мацуев высунулся и крикнул:

— Чего топчешься? Проходи, тебе же больше всех надо!

Он ничего такого не имел в виду, он просто хотел сказать, что Пронякин на своей легкой машине, бравшей один ковш грунта, должен сделать на семь ходок больше, чем они на своих тяжелых, бравших по два ковша. Пронякин же понял его по-своему и усмехнулся.

— Не будем спорить, папаша, — пробормотал он громко в своей кабине, — кому больше надо, тебе или мне. А вот как я их сделаю, лишние-то семь ходок? Что бы ты мне насчет этого посоветовал, а?

Он увеличил подачу топлива до предела и на полной скорости прошел выездную траншею и участок перед конторой, обогнав еще три или четыре машины, которые возили грунт с верхних горизонтов. Затем дорога круто поворачивала к отвалу. Это была настоящая бетонка, с частыми температурными швами, которые увеличивали сцепление, и достаточно широкая даже для трех машин в ряд. Люди этой дорогой не ходили, а машины двигались с большими интервалами, и он мог маневрировать, резко забирая влево, а при случае рискнуть и на двойной обгон.

Его руки и ступни делали свое дело, а мозг работал отдельно от них, спокойно и четко. Здесь, ре-

шил он, будет главный его козырь, на этих трех километрах он сможет обгонять по десять, а потом, быть может, и по двадцать машин в рейс. Если он выиграл гонку с трехосными "ЯАЗами" на дороге вверх, тогда ему и карты в руки на ровной прямой, где два ковша говорят свое веское слово, а лишняя ось уже не имеет значения. Теперь следовало подумать, что можно выиграть на отвале.

Вскрышную породу сбрасывали в глубокий овраг с крутыми склонами, поросшими блеклой травой. На дне оврага росли невырубленные березы и старый орешник; верхушки их едва достигали края помоста, на который задним ходом въезжали машины, и, когда сыпался грунт, слышны были треск ветвей и шорох сминаемой листвы. Он видел, как туго приходится этим деревьям, которым уже не суждено было пробиться сквозь толщу грунта. Но думал он не об этом.

Короткий кузов его машины поднимался ничуть не быстрее, чем у "ЯАЗов", и, кроме того, он не имел скоса на заднем борту, поэтому его приходилось поднимать выше. Правда, задний борт у него откидывался, но из-за этого нужно было дважды выходить из кабины — сначала открыть щеколду борта, затем вернуться в кабину, чтобы поднять и опустить кузов, затем снова идти закрывать щеколду и только после этого трогаться в путь. "МАЗ" был из первых выпусков, когда еще не придумали шарнирный запор с продольной тягой и рукояткой возле самой кабины, и Пронякин терял на этом три минуты — почти столько же, сколько выигрывал в гонке. Он хотел наверстать эти минуты на обратном пути, но порожний он уже не имел преимущества перед порожними "ЯАЗами".

И все же в очереди у экскаватора он был уже не шестым, а третьим. Чтобы скоротить время, которое томило его и казалось ему совсем пустым, он занялся расчетами. Итак, он выигрывает по три машины в рейс. Большего он, пожалуй, сегодня не добьется. И это значит, что он едва вытянет норму. А больше обгонять негде — на спуске в карьер это запрещалось строго-настрого. Во всем виновата была дурацкая щеколда.

Делая вторую, третью, четвертую, пятую ходки, он старался не думать о щеколде. Он хотел добиться пока самого главного, что необходимо любому водителю, если он делает один и тот же рейс, — приладиться к дороге. Так, чтобы чувствовать по малейшему наклону кабины, не заглядывая под колесо, как изменяется профиль дороги и где выгоднее сбросить скорость, или перейти на другую передачу, или выжать из машины все, на что она способна.

Он мог бы довериться глазомеру и контролировать себя по цвету горизонтов: сначала серо-голубой, испачканный бурой пылью слой келловейских песков и глин, затем слои обычной коричневой глины, белый пласт известняка, желтая толща песков и, наконец, серый слой, понемногу темнеющий ближе к чернозему поверхности.

Можно было, конечно, и так, но на третьей ходке у него зарябило в глазах. Глаза уставали прежде всего, лучше было положиться на память мускулов, и он избрал для себя только один зрительный ориентир — те две яблоньки, что росли у конторы. Они обозначали конец этой дьявольской дороги вверх над обрывом. Сворачивая в траншею, он видел их острые верхушки, которые понемногу сливались в

одну густую крону и наконец вновь раздваивались тонкими стройными стволами.

— А вот и мы, — говорил он этим яблонькам, и его глаза отдыхали на них. Затем он переключал скорость. — Ну, теперь пошел главный козырь!

И все же проклятая щеколда не давала ему покоя. Только из-за нее он не добрал до нормы трех ходок, хотя он не давал себе ни минуты отдыха и пот катил градом по его лицу. Напряжение, с которым идет машина, всегда передается водителю, и чем лучше он ее знает, тем сильнее передаются ему ее усталость и боль.

Он страдал оттого, что в очереди у экскаватора нельзя выключить двигатель и дать отдохнуть ему и себе. Каждые полторы минуты он должен был подтягивать машину на один интервал. Он никак не мог научиться делать это автоматически. К тому же водители "ЯАЗов" могли не вылезать из кабин, хотя инструкция и предписывала это. Помимо инструкций, у них еще был прочный козырек кузова над головой, который защитил бы их, если бы машинист промахнулся и ударил ковшом по кабине. В конце концов и Пронякин плонул бы и не стал вылезать, но раза два Антон насыпал ему груз не по центру кузова. "ЯАЗы" не так боялись перекоса, который к тому же можно было исправить вторым ковшом, — Пронякину приходилось вываливать груз и становиться опять в хвост очереди. Подниматься же с перекошенным кузовом было и мучительно, и опасно. Бешено выругавшись, он погрозил Антону, но тот лишь ухмыльнулся и заглушил его длинным гудком.

Он хотел наверстать недобор за счет перерыва — еда у него была с собой, — но в этот час карьером

завладели взрывники, и сирена выгнала всех на-
верх.

Он возвращался в гараж усталый, разбитый и злой. И, въехав во двор, долго сидел в кабине, закрыв глаза, хотя ему нужно было осмотреть и помыть машину, подкачать баллоны, заправиться маслом и соляркой и слить в ведро черный вязкий отстой из топливных фильтров.

— Ты чего сумной какой? — спросил Мацуев.
— Солярки надышался? Стекла опускай. И вылезай почаще.

Пронякин не слышал его. Он ступил наземь и зашатался. Он думал о проклятой щеколде.

5

Утром он подобрал на стройке тонкостенную водопроводную трубу и протянул ее на проволочных кольцах вдоль борта, соединив с левой щеколдой. Правой он решил пренебречь, пока еще чего-нибудь не придумает. Штанга была укреплена так, что он мог открывать и закрывать задний борт, вылезая лишь на подножку. Это уже было достижением.

В тот же день он попробовал свое изобретение. Подъезжая к отвалу, он лихо разворачивался и ехал накатом к оврагу, одновременно поднимая кузов. Затем он вылезал на подножку. Вся штука была в том, чтобы грунт посыпался как раз в тот момент, когда задние колеса упрются в ограждающее бревно на краю помоста, и к этому времени уже отстегнуть щеколду, и сидеть в кабине, и не прозевать едва ощутимый толчок, и вовремя выжать тормоз. В первый раз он едва не свалился в овраг, во вто-

рой — затормозил слишком рано, и только в четвертый или пятый его нервы и мускулы не проспали толчка и стали понемногу привыкать. Теперь он мог закрывать щеколду и, на ходу опуская кузов, трогаться в путь. На всем этом он уже выигрывал полторы минуты.

Затем ему пришло в голову, что он может отправляться в путь и закрывать щеколду одновременно. Он даже рассмеялся и обозвал себя трижды дураком за то, что эта мысль не пришла к нему сразу. И вот он давал короткую прогазовку и включал полную скорость, а потом вылезал на подножку орудовать штангой. Он висел, держась одной рукой за борт, спиной к движению, а другой рукой яростно дергая и проворачивая штангу, а в это время машина набирала ход. Если бы он свалился случайно, машина пошла бы дальше и, пожалуй, наделала бы делов. Но он об этом не думал. И не слишком обращал внимание, когда встречные шоферы, полным ходом подъезжавшие к отвалу, бледнели и чертыхались, быстренько сворачивая в сторону. В конце концов им же не приходилось вылезать на подножку. Им же не приходилось делать лишних семь ходок. И к тому же он был уверен, что страшного ничего не случится: эти восемьдесят или сто метров машина шла по широкой площадке, укатанной и расчищенной для разворотов. Когда машина выходила на дорогу, он уже сидел за рулем.

Несколько раз это сходило Пронякину даром. Но ближе к концу смены, когда водители уже начали уставать, один из них резко застопорил, став поперек пути, и принялся обкладывать Пронякина последними словами. Он ругался равнодушно и сипло, время от времени устало закрывая глаза,

не обращая внимания на пробку, которая понемногу нарастала, и на отчаянные сигналы у него за спиной.

Он сразу кончил ругаться, как только подъехал по обочине Мацуев.

— Это твой, что ли, такой шустрый? — спросил нервный водитель, указывая на Пронякина согнутым заскорузлым пальцем.

— Ну, из моей бригады. А ты чего разошелся?

— Чистый ширкач! — сказал нервный водитель с некоторым восхищением. — Что они у тебя, все такие? С глазами на затылке.

— Ты езжай, — нахмурился Мацуев. — Сами разберемся, где у кого глаза.

— Вот я и говорю — сразу и не разберешься. — Он успокоился и отъехал, и за ним проехали остальные.

— Ты поосторожнее все-таки, Виктор, — посоветовал Мацуев. — Это он психанул, конечно, но и ты тоже... Не дразни людей понапрасну.

— Я на него наехал? — спросил Пронякин запальчиво.

— Не наехал, а мог бы.

— Вот когда наеду, тогда пускай и психует!

Мацуев не ответил и спрятал глазки под насупленными бровями. Двигатель у него взревел.

— Хотел бы я знать, — крикнул Пронякин, — как бы я иначе сделал лишних семь ходок? Виноват я, что у вас такие дурацкие нормы?

— Нормы не я устанавливаю, — сказал Мацуев и отъехал.

Пронякин сплюнул на обочину и поехал тоже, круто набирая скорость. Он не мог и не хотел ду-

мать о том, чтобы смириться и отдать то, чего уже достиг.

В этот день он все-таки вытянул норму и даже сделал две ходки сверх нее.

Это было еще не то, о чем он мечтал, но он знал, что остальное решат другие минуты, которые он непременно выиграет тоже, если приучит Антона не валять дурака и насыпать ему груз по центру кузова и если все-таки рискнет раз-другой обогнать кого-нибудь на спуске.

— А ты, как я погляжу, лихой! — сказал ему Мацуев, когда они почистили и помыли свои машины и поставили их в гараж. Он сказал это не то осуждающее, не то восхищенно. — Ездишь, как бог, всех обдираешь.

— Тем и живем, — ответил Пронякин, медленно возвращаясь от своих мыслей. — Не возражаешь?

— Ишь ты, — сказал Мацуев, не улыбаясь.

Остальные промолчали, искоса поглядев на Пронякина. Они медленно брали в поселок по бетонке, на которую уже легли оранжевые пятна заката.

Поселок лежал на холме, за мостком, брошенным через крохотную, заблудившуюся в камышах речушку. Он был точно кем-то аккуратно впечатан, вместе с разноцветной коростой крыш, в обширную бугристую лысину посреди молодого леса. Над крышами летали голуби, где-то, ровняя новую улицу, стрекотал бульдозер, и предвечерними голосами перекликались женщины, звавшие детей.

— Я жить никому не мешаю, — сказал Пронякин полуслыша, полусерьезно. — Каждый может, как я. Разве нет? А не может, кто ж ему, бедному, виноват?

Что-то исчезло из тех, первых, минут знакомства

с ними. Он не любил, когда это исчезает слишком быстро.

— Оно так, — неопределенно ответил Мацуев.
— А все-таки, ежели кой-кто невзлюбит, не опасешься?

Пронякин вдруг ясно увидел себя, как он круто сворачивает у них перед носом, а вслед ему несутся гудки и ругань. Конечно, он заставлял их нервничать. Особенно когда висел на подножке, повернувшись лицом назад.

— Ничего, прилажусь, — сказал он устало и при мирительно. — Никто в обиде не будет.

— Поскорей бы, — усмехнулся Мацуев. — А то не нароком сшибешь кого или сам в кювет угодишь.

— Мне же хуже.

— А отвечать? — спросил Мацуев. — Папа римский? Мацуев будет отвечать.

Они перепрыгнули канаву и пошли лесной тропинкой, срезая поворот. По этой тропинке, широкой и вытоптанной до твердости асфальта, ходили на рудник и летом, и зимой. Она уже забыла, когда на ней росла трава, но ветки кустов были целы, хотя люди постоянно задевали их.

— Вот когда я в пожарной команде служил...
— начал вдруг Косичкин.

— Слыхали, — сказал Федька. — Руки привязывал?

— И совсем про другое. Был, значит, начальник у нас... Михаил Денисьич... Взял, идиот, и выиграл "Москвича". Про него даже в газете написали: "гр. Эм Де Семенов, обладатель крупного выигрыша, явился в наш магазин". Слава, конечно. Но, между прочим, на следующей неделе я его в больницу отвез. Раз это у него на спидометре сто сорок написа-

но, значит он тебе должен такую скорость всему городу продемонстрировать. Иначе зачем же ему "Москвич"? И в газете зачем писали? Ну и, понятное дело, на столб налетел. Мне-то, конечно, нетрудно в больницу свезти. Пожалуйста, с дорогой душой! Но почему же обязательно на столб? Разве нельзя так, чтобы, например, столб у тебя справа стоит, а ты его облезжаешь слева? Или наоборот.

— Что ты плетешь? — спросил Федька.

— Я не плету, — обиделся Косичкин. Желтое лицо его потемнело от возмущения. — Ты шкет против меня, понял? Как ты можешь мне грубить?

— Да при чем тут столб?

— Сам ты столб. Я не про столб. Я про жизнь. Столбов много, а жизнь одна. Я в войну генерала возил — очень храбрый такой был у меня генерал, Героя получил за Днепр. И сам я тоже был малый шухерной, не то что теперь, мне тогда и двадцати не было. А все же, как налет или так что-нибудь побрякивает, так мы с ним, понимаешь ли, в щельку спрячемся и — дышим. "Петя, говорит, очень я жизнь люблю и тебе советую". Н-да, но под Веной все-таки убило его... Вот, вот, гляди, ящерка побегла. Ать, стервоза, как извивается! Думаешь, она жить не хочет? Хочешь, а? — спросил он ящерицу.

Маленькая зеленая ящерица взлезла ветвистыми лапками на сучок и замерла. Едва заметно пульсировала ее чешуйчатая салатная шейка. Косичкин выпрямился и шагнул к ней. Она тотчас юркнула в сухие листья.

— Нервная, — сказал Косичкин. — Но, между прочим, хвост она тебе спокойненько отдаст. Ей красоты не жалко. Второй-то у нее похуже будет. Н-да, ловко это природа придумала, а? А вот и не очень.

Второй хвост она ей придумала, а вторую жизнь — нет... Вот оно как, дорогой мой Витя.

— А он-то при чем? — спросил Выхристюк.

— Он знает, — сказал Косичкин. — Он водитель добрый, а что ни дальше, то все лучше будет. А вот сегодня я его чуть не обругал, даже самому противно стало. Ну ладно бы я еще пешего дураля ругал, а то ведь своего же брата шофера. Это уже драма. Тут, Витя, есть о чем подумать. Ты хочешь работать физицки напряженно? Я тебя понимаю, сам был молодой. Ну и работай физицки напряженно, только на крыле не виси, когда тебе самое верное в кабинке сидеть да глядеть в оба. Себе же спокойнее будет и другим. Потому — что такое шофер? Целый день — сплошные нервы.

Солнце опускалось все ниже и вдруг сошло за деревья. Лес наполнился длинными тенями и солнечным туманом, за которым не видно стало поселка. Но выше были удивительно ясно видны порозовевшие облака и узкая фиолетовая полоска неба. Лес как-то сразу притих, и стал слышен шорох шагов.

— Красотища какая! — вздохнул Выхристюк. Он искренне страдал и морщил лоб в продолжение всего разговора, который был ему явно в тягость.

— И дышится легко-легко. Так бы всю жизнь дышал, аж до самой смерти!

— Нравится? — спросил Косичкин. — А зачем же тогда с ума-то сходить? "Руда! Руда" Ну, что же руда? Оно, конечно, вся кому приятней железо возить, чем пустую породу. Вот и в человеке оно есть, железо, уж не помню, сколько-то процентов. А все-таки зачем же нервничать? Если, скажем, предназначено ей, рудишке-то, в пятницу появиться, так она же все

равно в понедельник тебе не покажется. Ну и ради Бога! Неужели же из-за этого жизнь себе портить? Вот врачи говорят: один день нервности целый месяц жизни у человека отнимает.

— Это ты все глупости говоришь, — вдруг сказал Меняйло. — А для чего же мы тут живем? Для чего город строится? Чтобы мы в песочке копались? Вся страна, можно сказать, руду эту ожидает. Вот и Хомяков говорит, мы покамест без отдачи живем. Потому и артисты к нам не ездят. И кино самые вшивые привозят. И правильно. Государство деньги вкладывает, а мы ему покамест шиш даем.

— Это ты к чему, Проша? — унылым голосом спросил Выхристюк.

— А к тому, что всем легче будет, когда руда пойдет. Мне вот дружок из-под Курска, с Михайловского карьера, пишет — сразу легче стало, как пошла руда. И кино, и артисты, и масло в магазине, и мануфактуры всякой навезли. Потому что с отдачей стали жить. А Витьке, понимаешь, на это наплевать. Ему бы ходок побольше сделать, заработать.

— А ты почему знаешь? — спросил Пронякин.

Меняйло угрюмо смотрел себе под ноги. Он уже сказал, вероятно, самую длинную тираду в своей жизни, и теперь ему трудно было что-нибудь из себя выдавить. Но он все-таки выдавил:

— Ты бы другим не мешал.

Лес кончился, и тропинка опять вывела их на бетонку.

— Торопишься ты, Виктор, — сказал Мацуев. — Я вот тут с первого гвоздя, в палатке с женой и дочками жил. Да и другие, кого я знаю, не сразу к ним все приходило. А ты хочешь, чтоб сразу все. Нет уж,

погоди, присмотрятся к тебе, соли пудика три съедят с тобою, а тогда уж и претендуй.

Дальше они шли молча. Федька, посвистывая толстыми губами, хлопал веткой по перилам мостка. Выхристюк сбегал вниз умыться и вернулся с примоченным чубиком и обрызганной грудью. И опять страдальчески сморщился.

Молча они поднялись на взгорок и пошли широкой, давно обжитой улицей, мимо огородов и палисадников, где росли подсолнухи, помидоры и розовые кусты.

У дома Мацуева они остановились. На улице пахло пылью, привядшей картофельной ботвой и гусиным пометом. Дом Мацуева стоял за реденьким голубым забором, в глубине палисадника, весь в зарослях граммофончиков и плюща. На красной крыше вертелся флюгер и высилась Т-образная антенна, по которой бродила парочка турманов.

— Эх, хлопцы, — сказал мечтательно Выхристюк, — жить бы нам всем на одной улице. Пришел домой — душа радуется. Часик порадовался — пошел, например, к Меняйло пешком через забор — козла забить. Или, скажем, к Федьке — магнитофончик послушать. Музыка самая модерн. И чтоб девочки были красивые.

Мацуев молча усмехнулся и стал протягивать всем толстую растопыренную ладонь.

— Так-то вот, — сказал он Пронякину, который засмотрелся на его дом.

— Ладно, бригадир, — нехотя протянул Федька.

— Кончай нотацию. Витька все это учит. Верно?

— Давно учел, — сдерживаясь, ответил Пронякин.

— Ну, а раз так, самое бы время сейчас в "зверинчик" сползать. И чтоб больше ни слова.

- В честь чего бы это? — спросил Мацуев.
- А в честь чего бы и не пойти? — спросил Федька.

На крыльцо вышла жена Мацуева, очень смуглая и дородная и, как многие здешние женщины, в плащечке, низко надвинутом на лоб, хотя солнце уже зашло. Должно быть, она только что спала.

- Подышать, гляжу, вышли, Татьяна Никитишина?
- спросил Федька, галантно приподнимая кепку.
- Вечер добрый!

— Добрый, — сказала жена Мацуева. — Ты и сам то, гляжу, не злой. Куда это уговариваешь идти?

— Заседаньице б надо провести. По обмену опытом.

— А! — сказала жена Мацуева. — А то у меня настоечка есть, на смороде. Зашли бы да обменялись в приличном помещении, чем в "зверинце" этом срамиться.

— Вот это женщина! — восхитился Федька. — Вас бы, Татьяна Никитишина, на руках бы носить.

Федька первый откинул калитку и двинулся, пританцовывая, по высокой бетонированной дорожке, между кустами черной смородины и крыжовника.

— Торопись, хлопцы, пока Татьяна Никитишина не передумала!

Вышло так, что Пронякина никто не пригласил. А он был новенький, он ни разу не был в этом доме, где все они побывали, наверное, не раз, и ему полагалось особое приглашение — это он знал твердо. К тому же они видели, как он помедлил за калиткой, и ни один не позвал его, не спросил: "А ты чего?"

С нелепой, приклеившейся к лицу улыбкой он повернулся и пошел дальше, к своему общежитию, по улице, странно опустевшей в этот час.

Он ждал, они спохватятся и позовут его, и приготовился долго отнекиваться. Но они не спохватились и не позвали.

"Так, — подумал он, — наступил, значит, на мозоль. Думали, его тащить надо, растить кадр, а он вон он, уже воспитанный, и всем носы готов поутират. Перепугались!"

В глубине души он допускал, что это не совсем так, но обида была сильнее его, потому что он не знал толком, кого же, в сущности, винить. Кого винить, если слишком рано обнаруживается твое желание вырваться вперед, и при этом никто почему-то не подозревает за тобой высоких материй. Про других говорят: "Этот работяга что надо!", а про тебя: "Этот из кожи лезет за деньгой", хотя и ты, и другие делают, в сущности, одно и то же! На лице, что ли, у тебя это написано? Но чем твое лицо хуже, чем у Мацуева? У Меняйло? У Выхристюка? Какой секрет они знают, которого не дано знать тебе?

Весь вечер он слонялся, не зная, куда себя девать. Он поплелся было на "пятачок", но как-то не мог найти себе девицу по вкусу и вернулся в комнату, где проиграл подряд три партии торжествующему Антону и, спрятав костюм, рано улегся спать.

"Может быть, — медленно думал он и курил, — надо было б собраться вместе да сказать им: "Вот, хлопцы, тут у меня, чувствую, узкое место, да и у вас тоже, а ведь можно кое-что и сделать, баки другим бригадам забить". Да, можно и так, только им от меня почина не хочется. Вон они как взвились из-за двух-то лишних ходок... Не нравится, сами-то насилиу до нормы дотягивают. А я-то при чем?"

Он долго ворочался ночью, не в силах уснуть. Он слушал, как поет ветер и где-то далеко гремит

гроза, и думал о том, что, если суждено его жизни измениться, пусть это будет быстрее и больнее, если так нужно.

“Пусть думают, что хотят. Я им не нанялся в подмастерьях ходить, в учениках. Я в армии на вездеходах ездил, на Ай-Петри экскурсантов возил, а там не такие дороги, и то с ветерком, бывало... Мне заработать нужно, жизнь обстроить, обставить, как у людей. Тогда пожалуйста, тогда я тебе и десять норм бесплатно отработаю. А то вот ты понервничал — это относилось и к Мацуеву, и к Федьке, и, вероятно, ко всей бригаде целиком, — а потом домой пришел, жена тебя встречает, не жена, а сдобра калорийная, и дом у тебя — гастроном с универмагом, и мотоцикл, наверное, в сарайчике стоит. А мне почему валяться по чужим углам, слушать чужую храпотню?.. Не-ет, я себе жилы вытяну и на кулак намотаю, а выбьюсь. А потом я тоже добренький буду, не хуже тебя. Понял?”

Последнее слово вырвалось вслух, невольно для него. На соседней койке приподнялась лохматая голова Антона, и хриплый сырой голос спросил:

— Ты что, партию, что ли, переигрываешь? Ферзёй ходи, не ошибешься.

— Спи давай.

— Чокнулся человек, — сказала голова замирающим голосом и опустилась на подушку. — Доигрался...

Пронякин, стиснув зубы, повернулся к стене. И решил сразу и бесповоротно: “По-своему жить буду. Так-то лучше. Наряд закроют, тогда посчитаемся, кто кого лучше”.

С тем он и заснул, со злорадной усмешкой на жестком, обтянутом смуглой кожей лице.

Небо нависло над гаражами, плоское и беспрозрачно серое. Задранные кузова машин, казалось, на метр не достают до него. На стенках кабин, на ручках и оловянных медведях, потерявших свой блеск, выпала бисерная роса.

Пронякин, с ватником на одном плече, прошел к своей машине. Он сбросил ватник на сиденье и запустил двигатель. Затем вышел и, открыв капот, протянул ладони над двигателем. Ему было приятно стоять на сыром холоде и греть руки и знать, что в кабине тепло. Рядом, сумрачный и, должно быть, не проспавшийся после вчерашнего, возился Федька.

— Утро доброе, — сказал Пронякин. — Ну как, хмельно было вчера?

Федька ухмыльнулся полусонно и посмотрел на него, точно впервые увидел.

— А ты чего удрал-то?

— А что, заметно было? — спросил Пронякин и пожал плечом. Ему хотелось показать, что он ничуть не обижен и что они все же обидели его.

— Чудак ты, — сказал Федька.

— Честное слово?

Федька помолчал и спросил:

— Фигурную отвертку дашь?

— Чего спрашиваешь? Бери.

— Хотя не надо, — сказал Федька. — Простая взьмет... А ты все-таки чудак.

Гена Выхристюк, почесывая за ухом, прислушивался к двигателю. Цилиндры работали с неравномерным металлическим стуком, и выхлоп был густой и черный, как бывает, когда засоряются отверстия в распылителях форсунок. Гена страдаль-

чески морщил лоб. Косичкин с блуждающей на лице тревогой, тоже вслушивался в его двигатель. Меняйло суровым и неподвижным взором уставился на медведя, отирая руки промасленными концами. Мацуев икоса поглядел на Пронякина и сунул голову под задранный капот.

От гаража Пронякин ехал последним. Он мог обойти их перед карьером, но не хотел пока что мозолить им глаза. Все равно он возьмет свое с первой же ходки. "И черта с два меня тогда прижмешь, — подумал он спокойно и беззлобно. — Руки будут коротки. Главное-то было прилепиться, а уж не отлепиться я как-нибудь сумею".

Он сделал три ходки и стал делать четвертую, когда вдруг начало моросить. Он увидел дрожащие извилистые потеки на запотевшем стекле, и у него упало сердце. "Теперь все, — сказал он себе. — Теперь они тебя на трехосных обдерут запросто". Но, подъехав к карьеру, он с удивлением разглядел всех своих на пустыре у выездной траншеи. Они как будто и не собирались возвращаться в карьер. Самосвалы выстраивались в шеренгу, сминая траву облепленными глиной скатами.

Пронякин остановился и высунулся под мелкий дождь.

— Неужто опять взрывать собирались?

— Дождик, не видишь? — сказал Федька. Он вытащил из-под кабины лопату и стал соскребывать рыжую глину с покрышек.

— Ну и что — дождик?

Мацуев, не глядя на него, вытянул руку вперед и пошевелил толстыми пальцами.

— А то, что не потянет машина по мокрому. Вылезь, загорать будем.

- И долго?
- Про это в небесной канцелярии спроси.
- Ну, а посыпать чем-нибудь нельзя? Гравием, щебнем. Пес его знает чем, хоть солью.
- Посыпали. Не помогает. Сам же глины с нижних горизонтов навезешь.
- Так, — сказал Пронякин. — Так. Значит, актиrovать будем день? Как бы вроде по бюллетеню?
- Значит, актиrovать, — сказал Мацуев. — Пятьдесят процентов гарантированных — твои.
- Выходит, двадцать один рублик...
- Выходит, так.

Пронякин поставил свой "МАЗ" последним в ряду и надел ватник. Он стоял у дороги и тупо смотрел, как подходят самосвалы других бригад. Молчаливые, угрюмые водители ставили машины во второй, в третий, в четвертый ряд и вылезали, заглушив двигатель. С этой минуты дождь переставал для них существовать. Он был страшен только машинам, грозным, свирепым машинам, этот мелкий, как стая мошки, дождик.

Пронякин медленно побрел к кантонке. Последние самосвалы поднимались из карьера, тяжело урча и буксую, и виляли задом, как гарцующие жеребцы. А на крыльце кантонки одни уже забивали козла, а другие молча жевали, расправив газеты с кусками хлеба и колбасы или с крутыми голубоватыми яйцами и помидорами, уставясь в грязь перед собою пустым, неподвижным взглядом.

- Присаживайся, — сказал Мацуев. — Ничего, привыкай.
- Я привыкаю, — ответил Пронякин.

Он сидел, сгорбившись, сунув руки под ватник, на лбу у него пролегла напряженная складка. Ма-

цуев поднялся и отсел к игрокам. Они стучали костяшками по мокрым доскам крыльца и негромко покрикивали:

- Братцы, я мимо.
- Ну и балда. Ты тоже мимо?
- Наш заход. Дуплюсь с обоих концов.
- Тюря, гляди, с чего идешь. Ты чувствуешь, с чем я остался?

”И что меня сюда занесло? — думал Пронякин. — Сколько ни ездил, по каким дорогам, по глине, и на диффер садился, и в студеной степи с заглохшим мотором сидел. И никогда я не думал, что такой паскудный дождишко может меня остановить. Пропащее место выбрал ты себе, Пронякин. Чувствуешь, с чем ты остался?”

Дверь конторы открылась, вышел начальник копьера. Соломенный брыль сидел на нем набекрень, и синий заношенный плащ был короток: из рукавов едва не по локоть торчали худые руки с тяжелыми кистями. Щеки и горло начальника с острым кадыком заросли темной щетиной.

”Должно, обещался не бриться, пока руда не пойдет”, — решил Пронякин. Начальник смотрел на дождь, помаргивая и зябко ежась.

— Ну что, товарищи козлы, — спросил он, — стучим помаленьку?

Игроки взглянули на него снизу, и кто-то ответил:

- Чего же еще остается?
- Да, конечно, — вздохнул Хомяков. — Больше нечего.
- Последние деньки достукиваем. Как достанем руду, там уж не постучишь.

Хомяков усмехнулся.

— Как же, достанешь с вами. Чуть что, вы уже и размокаете.

— А это уж вы зазря, Владимир Сергеич, — сказал Мацуев, повернув к себе обе ладони с костяшками. Они совсем спрятались в его ладонях, и он разглядывал их, оттопыривая губу. — Разве ж мы одни размокаем? В Лебедях-то, наверно, тоже булькали. Да и на Михайловском руднике.

— Что верно, то верно, — сказал Хомяков. — В Лебедях я сам на часах засекал: пять минут дождик — и размокает.

— Ну так чего ж? — спросил Мацуев. Он говорил с неуловимым превосходством старшего, который, однако, подчиняется мальчишке. — У нас-то все-таки глыбже. И глина не та. И карьер узковат. Еще хорошо, ежели эта история на неделю. А ну как на весь октябрь зарядит?

— Не зарядит, — убежденно сказал Хомяков. — Метеорологи обещают чудесный месяц. А там и до морозов рукой подать.

— Подать, да не очень. А метеоролукам верь! Они всегда чудеса обещают. В сентябре вон тоже погоду обещали.

Хомяков помолчал и сошел с крыльца.

— Белгород звонит, — сказал он. — Спрашивают: "У вас хоть одна бригада работает?"

— Рыба! — сказал Мацуев игрокам. — Считайте.

Костяшки торопливо застучали. Хомяков, подняв голову, смотрел в пустынное небо.

— Чудаки! — сказал он, дернув худым плечом.

— Что может сделать одна бригада? Для газеты им нужно, что ли?

— А вы б им, Владимир Сергеич, в окошко посоветовали глянуть. Над ними, видать, не каплет. Не

знают, что тут у нас творится. Колеса буксуют. Глина. Дороги крутые. Кто ж может заставить?

— Заставить, конечно, никого нельзя, — вздохнул Хомяков. — И все это, друг мой Мацуев, очень прескверно. Пойти, что ли, к слесарям на водоотлив, как там у них...

— Сходите, — посоветовал Мацуев. — Только не одни там в Белгороде болельщики. Мы тоже как-нибудь за это дело болеем...

Хомяков нерешительно двинулся по грязи, широко разнося длинные ноги в забрызганных брюках и баскетбольных кедах. Плащ свисал с его лопаток, как с вешалки. Затем он остановился.

— Мацуев, слушай-ка, все-таки как только кончится, не засиживайтесь. Договорились?

— Мы-то не засидимся, — пообещал Мацуев. И добавил, понизив голос: — Заял парнишка на корню. Нервничает. Да оно и понятно, своей-то руды не было у него еще, только в институте про нее учил. А в институтах чему их там обучают? Не разбери-пойми...

Дождик поморосил еще час и перестал. Проглянуло скучное матовое солнце. Но пришлось ждать еще два часа, пока не высохла глина в карьере, и в этот день ни одна бригада не выполнила и половины нормы.

Так было и назавтра, и день за днем повторялось с унылой точностью расписания. Комарная морось, пленкой покрывавшая глину, не позволяла людям пробить окно в руду. Она оставляла им для этого слишком редкие часы. Пронякину она позволяла делать две или три, от силы четыре лишние ходки, и когда через неделю выдали зарплату, он получил меньше всех, потому что должен был сделать больше.

Он стиснул деньги побелевшими пальцами, мысленно грозя кулаком хмурому, слезящемуся небу. Если б он верил в Бога, он обратился бы к нему с упреком, но так как он не верил в Бога, он выругал его на чем свет стоит. И пошел один в поселок мокрой бетонкой и через капающий лес, спотыкаясь в промозглом тумане.

В этот вечер он нашел на подушке письмо от жены. Он повалился на койку как был — в резиновых сапогах и ватнике, — чего никогда с ним не случалось, и, жуя папиросу, наискось разорвал конверт.

“Витенька, дорогой ты мой, — писала жена крупными детскими буквами, падающими в конце строчки. — Уж не знаю, как мне тебя благодарить, что не забыл, прислал известие. А то отец психует, и мамаша с ним теперь заодно, говорят: твой от тебя сбежал, загулял там, поди другую нашел. Ищи и ты, говорят, себе другого, пока не поздно. Уж очень ты им поперек горла. А кого мне искать, я же знаю, ты и погуляешь, а меня все-таки не позабудешь. Потому что вместе многое пережито. Витенька, я так за тебя рада, за твои успехи, не за себя уже. Хоть ты и говоришь, что я еще ничего, но ты ведь еще молодой совсем, тебе пожить хочется, погулять, и кто же тебя за это упрекнуть может? Витенька, я все сделаю, как ты велиишь, вот только напарнице все передам, она у меня толковая. И кровать с шифоньером, конечно, продам, чего же за них держаться, и приеду к тебе, конечно, Витенька. Куда же мне еще, как не к тебе?..”

Больше он не стал читать. Он закинул руку с письмом за голову, и курил, и слушал, как шумит гроза.

Сколько ни жил Пронякин на свете и сколько ни

колесил, он ни разу не видел таких гроз, какие по ночам бушевали здесь, над магнитными массивами курских аномалий, когда небо, взорванное густыми и сочными, ветвистыми молниями, становилось ослепительно белым на несколько долгих мгновений, так что можно было разыскать в грязи наперсток, а от репродуктора, который забыли выключить, разлетались длинные серебристые искры. И грохот грома был долог, точно поджигали с конца пороховой заряд в несколько верст длиною.

Он докурил папиросу и швырнул ее за кровать. Потом сбросил ноги на пол и сел, расстегивая на груди ватник.

- Давай, что ли? — сказал он Антону.
- Чего давай? — спросил Антон. Он лежал на койке и читал что-то толстое про шпионов.
- Выпьем, — сказал Пронякин. — Есть у тебя? Или сползаем?
- Ты что? Ты серьезно?
- Ага...
- Нет, ты на самом деле?
- Ну сказал же тебе...

Антон взмыкнул ногами в продранных носках и сел, бросив книгу на тумбочку.

- Хлопцы! — сказал Антон. — Наша планета начинает вращаться в другую сторону.
- Не имеет значения, — сказал Пронякин.

Четверо их соседей зашевелились на своих койках и приподняли головы, разглядывая Пронякина точно впервые. Это были командированные из Курска, приехавшие на месяц монтировать электрооборудование на подстанции. Пронякин их невзлюбил с первого дня, сам не зная почему, и за все время ухитрился не обмолвиться с ними словом. Каж-

дый вечер они аккуратно подсчитывали свои доходы и убытки и считали на пальцах дни, оставшиеся им до той желанной поры, когда они снова вернутся к своим мотоциклам, и девочкам, и джазикам в шикарном парке "Боевая дача". Может быть, он невзлюбил их за то, что не видел разницы между ними и собою.

Они расшевелились и повытрясли кой-какие дежнеки, и он своих добавил, не считая, и двое из них куда-то молчаливо сползали и так же молчаливо вернулись с закусками в карманах и с батареей четвертинок в авоське.

— Значит, больше выливать не будешь? — спросил Антон.

— Больше не буду, — ответил Пронякин. — Давно заметил?

— В первый день. Чудак ты, комендант нас не обижает. Он тут с нами и сам выпивал.

— Ладно, — сказал Пронякин. — Не прячь теперь.

— Не буду, Витя. Только ты не надейся, особенно мы тебе загулять не дадим. В меру, понял?

— Хорошо, в меру. Наливай...

Водка булькала и успокаивалась в стакане, и он сморщился, представив себе ее полузыбкий керосинный вкус.

— Постой, — сказал Антон. — А ты с чего это вдруг? Что тебя точит? Жинка тебе чего-нибудь написала?

— Написала, что очень любит.

— А... — сказал Антон и внимательно, долго смотрел на Пронякина. — Тогда за твою жинку. Только учи, больше одного стакана за жинку не пьют.

— Ладно, — сказал Пронякин. — Поехали.

Он давно не пил и захмелел быстро. Он и хотел

захмелеть, чтобы скорее уснуть. И он не слышал, как Антон стащил с него сапоги и одежду и уложил под одеяло. Но поздней ночью он проснулся от неожиданной тишины и понял, что гроза кончилась. Где-то на краю поселка прокукарекал петух. Пронякин поднес к глазам руку со светящимися часами: было половина второго. "Не иначе как распогодится завтра, — подумал он. — А то с чего бы ему горло драть?"

Он прислушался к часам. Они не остановились, они стучали, хотя он забыл их завести.

7

Старожилы юного Рудногорска вспоминают, что утро в тот день было солнечное и с редкими облачками.

Пронякин успел сделать четыре ходки и стал делать пятую. Поднимаясь из карьера, он весело барабанил сам с собою и пел что-то невразумительное, когда вдруг увидел крупные капли на ветровом стекле. У него опять упало сердце. Он прибавил ходу и помчался к отвалу и там опять воевал со щеколдой, вися на подножке и не слыша ругани, которой обкладывали его встречные водители, бледневшие и сворачивавшие в сторону. Он спешил сделать хотя бы еще один рейс.

Но на обратном пути тень большой тучи легла перед ним на дорогу, и, подъезжая к карьеру, он увидел на пустыре несколько машин.

— Шабаш, значит? — спросил он у Федьки.

— Шабаш, — подтвердил Федька. — Впервой, что ли. Вылезь, позагораем.

— А экскаваторы? — спросил Пронякин. — Работают?

Он спросил это просто так, он еще ничего не решил.

— А что машинистам-то? Им не ездить.

Пронякин мгновение помолчал. Он слушал, как ровно шумит двигатель и как тяжелые капли барабанят в пустом кузове. Потом он потянулся к рычагу скоростей и медленно убрал ногу с педали сцепления.

— Куда ты? — заорал Федька.

— Сделаю покамест одну ходку, — ответил Пронякин, не оборачиваясь. — А там поглядим.

— А чего глядеть-то?

Федька шел рядом с машиной.

— Ты едешь со мной, что ли?

— Что ты, я машины своей не губитель. И себе не губитель. И тебе бы тоже не советовал...

Все вдруг осталось позади. Пронякин спускался вниз по бетонке, уже покрывшейся прозрачным лаком. Навстречу ему выезжали последние машины, и карьер быстро пустел. Лишь стрекотал одинокий бульдозер да взрывники колдовали у своих буровых станков, напоминающих треноги зенитных пулеметов. Его "МАЗ" был единственной машиной, которая в этот час въезжала в карьер.

С колотящимся сердцем он прошел два витка, миновал опасное место у рыжего глиняного пласта, где крупные комья обрушились со склона и завалили полширины дороги, и стал, плавно заворачивая, спускаться к свинцово-голубым массивам келловея. Экскаватор стоял в знакомом забое, совсем расплывшийся в кисее дождя. Поодаль маячила согбенная фигура Антона. Он тащил, взвалив на

плечо, толстые, черные, лоснящиеся провода. Должно быть, он готовился отключить моторы.

— Насыпай, что ли! — крикнул Пронякин, останавливаясь прямо против ковша.

Антон все тащил свои провода.

— Ты не оглох ли часом?

— А ты часом не сдурел? — спросил Антон.

— Не замечаю.

— А дождик замечаешь?

— И дождик не замечаю.

Антон сбросил провода на землю и молча, внимательно посмотрел на Пронякина. Затем легко вспрыгнул на гусеницу и исчез в будке. Пронякин ждал, когда он выйдет. Но он показался у пульта, за мокрыми стеклами

— А что тебе Мацуев запоет? — спросил Антон.

— Арию Хозе из оперы Бизе.

— А ты ему что, Витя?

— Не знаю, — сказал Пронякин. — Не придумал.

Наверное, "Тишину".

Антон постучал себя пальцем по лбу и уронил руки на рычаги. Экскаватор повернулся, дергаясь, и стрела пошла к груде породы.

— Рекорд ставишь? — спросил Антон, не переставая следить за ковшом. Никогда он так внимательно не следил, чтобы грунт сыпался по центру кузова.

— Ага, — сказал Пронякин. — Индивидуальный.

— Валяй, доказывай. Только гляди: не докажешь — разгружайся где-нибудь подальше. Моторы не отключать?

Пронякин секунду помедлил.

— Не отключай покамест. Я еще вернусь.

Струйки дождя изморщили склон и пересе-

кали дорогу. Но колеса не буксовали — он чувствовал это по шуму двигателя. Они не боялись воды, они боялись размокшей глины. Медленно, ощущая каждый оборот колеса, он прошел второй горизонт, и третий, и оттуда увидел весь карьер, затканный туманной сетью. Антон вышел из будки и, задрав голову, провожал его глазами. Пронякин помахал ему рукой, но тот не ответил. Взрывники оставив свои станки, тоже смотрели на Пронякина.

У рыжего пластиа двигатель вдруг зачалил, как на холостом ходу, и комья глины, на которые смотрел Пронякин, вдруг замерли и поползли от него вверх, и он понял, что катит вниз юзом.

— Н-но, дура! — сказал он сквозь зубы и, быстро включив задний ход, сам покатил вниз, плавно притормаживая двигателем и постепенно возвращая себе власть над дорогой. — Так-то лучше, — сказал он, когда машина остановилась, и, вытерев лоб рукавом, снова послал машину вперед, вверх, выжимая и выжимая педаль подачи топлива.

Комья рыжей глины снова ползли под колеса, а потом перестали ползти, и двигатель взревел от ярости, которая передалась ему от водителя. Всей своей мощью он держал машину на месте, не отдавая ни сантиметра дороги, затем понемногу начал отвоевывать сантиметр за сантиметром, пока машина не пошла вперед, наращивая ход.

Пронякин посмотрел вниз. Антон и взрывники по-прежнему стояли неподвижно и смотрели на него. Он помахал им рукой, тогда они задвигались и разопались. На пятом горизонте дорога стала положе, здесь ничего опасного не было, просто немножко узко, и нужно было держаться поближе к склону и не смотреть вниз. Он отвернулся и стал смотреть

на откос, изборожденный ручейками, ожидая, когда он кончится и покажутся верхушки яблонь.

В конце выездной траншеи он увидел нескольких шоферов. Он сделал улыбающееся лицо и выставил руку вперед, на ветер. Но они не ответили на его улыбку. И кто-то из них протяжно, по-разбойничьи, свистнул. Это не могло не относиться к нему.

— Так! — сказал он громко самому себе. — Значит, так теперь? Ну хорошо!

Он провел по лицу ладонью, точно стирая горячую краску, и, поворачивая к отвалу, спросил себя:

— А ты чего хотел? Не любишь?

Дорога стремительно летела под колеса, и по тому, какой узкой она вдруг стала, он догадался, что идет с полной скоростью. "Вот так бы всегда ездить, — подумал он. — Никто не мешает!" Он подумал об этом без горечи, хотя свист еще стоял у него в ушах. Просто он любил ездить, не принаравливаясь к другим. Никто не пылил перед ним, не дымил в глаза, и впервые за эти дни он разглядел зеленое поле травы за обочинами, лиловую пашню далеко за оврагом и крохотную деревушку, лепившуюся на холме, среди густых садов.

Но кто-то шел навстречу, какая-то женщина плелась посередине дороги, прикрывая лицо от косого мокрого ветра брезентовым дождевиком. "Учетчица, верно, сбегает..." — решил Пронякин. Деревенские женщины не осмеливались так ходить по рудничным дорогам.

В нем шевельнулась привычная злость к дуракам пешеходам. Он тихо притормозил и подождал со злорадством, пока она не ткнулась плечом в радиатор. Она вскрикнула и шарахнулась, открывая лицо.

- Больно? — спросил он участливо.
- Дурак! — сказала она. Лицо у нее было мокрое.
- Не лайся. Давай в кабину.
- Чего я в твоей кабинке не видела? Я в контору иду.
- А кто на отвале вместо тебя?
- Никто не вместо меня. Чего мне там сидеть, раз никто не ездит.
- Я вот езжу, — сказал Пронякин.
- А ты чего ездишь? Тебя дождик не касается?
- Нет, — сказал он и помотал головой. — Меня не касается.

Она тоскливо посмотрела назад, на дорогу.

— Ладно, — он усмехнулся, — ступай в контору. Кто-нибудь мои ходки запишет.

Но она неожиданно вскарабкалась к нему в кабину и взгромоздилась на высокое сиденье, как усаживаются дети.

— Чего уж там, запишу. Может, ты рекорд какой ставишь. Только руками не тово, — предупредила она равнодушно.

— Нужна ты мне очень, — сказал он, косясь на круглое ее колено, и, потянувшись, прихлопнул дверцу.

Лакированная дорога опять бежала под колеса. Он повернул зеркальце и увидел нежную пушистую окружность щеки и печальные, выгоревшие на солнце ресницы.

- Где-то я тебя видел.
- А конечно, видел. Я ж воду на точке продавала около конторы. И я тебя видела. Все чистую пьют, по шесть стаканов, а с сиропом никто почти. А ты сразу два.

— А! — Теперь и он вспомнил ее. — Что же ты, бросила свою точку?

— Я с Манькой Клюшкиной поменялась. Надоело ей на отвале сидеть. Все упрашивала, ребенок у нее, ну вот я и согласилась.

— Что же тебе, интересно ходки наши записывать? Она повела плечом и вздохнула.

— Крестики ставишь? — спросил он насмешливо.

— Не-а. Галочки.

— Великое дело! А Манька, значит, воду продает?

— А Манька воду.

— И не жалеешь, что поменялась?

— А что за нее держаться, за воду-то? Теперь уж зима скоро, кто ж ее будет пить?

— Тоже резон. Но ведь Манька-то не дура, не зря перешла, а?

Она опять вздохнула.

— Кто ее знает, Маньке, наверно, лучше будет. Точку на зиму в столовую перенесут, там тепло.

— А все-таки, — спросил он, — что же ты родилась, что ли, галочки ставить?

— А ты родился баранку крутить?

Он слегка смущился.

— Сравнила! Я дорогу люблю, ветер... Ну и вообще.

— А я здесь тоже не засижусь особенно. Думаешь, я за лишних двадцать рублей поменялась? Просто я из торга никогда бы на экскаватор не попала. А теперь, может, и попаду...

— А чего тебе делать там, на экскаваторе?

Она изумленно вскинула ресницы, и он тут же прикусил язык.

— Так ты ж сам же меня агитировал! Не пом-

нишь? "Такая молодая, тебе бы на экскаватор пойти". Не говорил? Смеялся, да?

— Нет, — сказал он серьезно. — Это я теперь смеюсь.

Он высадил ее перед отвалом, и она, уныло ссутулившись, пошла под фанерный навес. Он вывалил грунт и, проезжая, увидел, как она сидит на ящике, поджимая ноги в парусиновых туфлях и спрятав руки в рукава. Он развернулся и подъехал.

— Ты чего?

— На, — сказал он ей, — возьми укутайся. Мне ни к чему.

Он снял и кинул ей свой большой и нагревшийся в кабине ватник, который ей оказался едва не до колен, и помчался в карьер. Дорога была пустынна и мокра, и он рад был никого не встретить.

— Все ездишь, Витя? — спросил Антон.

— Все езжу.

— И правильно делаешь. Держи хвост пистолетом. Имеешь право!

— Это какое же? — спросил Пронякин.

— Э, Витяка, что я, слепой, что ли? Не вижу, какой ты шофер? Нам-то, можешь поверить, снизу виднее, все вы, как на картинке. Мне бы таким машинистом стать, какой ты шофер... Что тебе можно, другим нельзя, понял?

Пронякин поднимался вверх и думал о том, какая странная дорога выпала ему на этот раз. На одном ее конце был Антон, а на другом эта девочка на отвале, и оба они словно чего-то ждали от него, а он только отрабатывал свои ходки: восемнадцать копеек тонна, одиннадцать копеек километр, и лишь бы не встретить никого у конторы.

Подъезжая к отвалу, он снова увидел маленькую

фигурку на середине шоссе, идущую боком, загораживаясь от мокрого ветра.

— Ты чего? — спросил он, притормаживая.

— А! — испугалась она. — Думала, уж ты не приедешь.

— Садись. Сказал — приеду, значит, верь и жди.

— Хорошо, — сказала она кротко. — Буду верить и ждать.

Он снова высадил ее у фанерного навеса и, вывалив грунт, подъехал.

— Слушай, а ты как, ходки не приписываешь?

Она взглянула на него с тоской.

— Ну вот, и ты спрашиваешь. Я думала, не спросишь. Да что у меня, на лице написано, что я мухлюю?

— Ни в коем случае. Только так спросил.

— На тебе твой ватник! — сказала она решительно. — Это ты просто крючок закидывал. Я знаю, тут уж до тебя некоторые закидывали.

Она протягивала ему в окошко ватник, но он спокойно отвел ее руку и спросил:

— А Манька? Она мухлевала?

— За Маньку говорить не буду, чего не знаю. Может, и приписывала. Ведь ребенок у нее.

— Ну, а ежели б у тебя был, ты бы как, а?

— Знаешь, иди ты к черту, — сказала она. — Ну, прошу тебя — езжай.

Он рассмеялся и поехал. И улыбался, глядя сквозь мокрое стекло на мокрую дорогу.

Он спешил сделать еще рейс до обеденного перерыва, но его остановила сирена. В этот час вступали в свои права взрывники. Он подрулил к обочине и выключил двигатель и только тогда почувствовал,

как он устал и голоден. "Да и тебе бы отдохнуть не мешало", — подумал он о машине.

Увязая в грязи, он прошел длинным пустырем, чувствуя на себе насмешливые взгляды, и вошел в столовую. У самых дверей сидели Мацуев, Косичкин, Федька и еще кто-то из другой бригады. Они замолчали при его появлении. Перед ними стояли тарелки и кружки с пивом и простоквашей. Места рядом с ними не было, и Федька, пошарив глазами, виновато развел руками. Пронякин почувствовал облегчение.

Он взял обед и пошел с подносом к одинокому столику в полутемном углу избы. Ему хотелось сесть спиной к ним, но он заставил себя сесть боком. Краем глаза он видел их и знал, что они говорят о нем. Затем Федька с грохотом поднялся и направился к его столу. Он сел рядом на стул и поставил локоть возле тарелки.

— Ну как? — спросил Федька. Он ухмылялся, растягивая губастый рот, и сопел над ухом Пронякина.

— Тридцать три.
— Чего — тридцать три?
— А чего — ну как?
— Как работенка, спрашиваю.
— Ничего, не пыльная. Скаты в порядке, поршня не стучат, нигде не заедает.

Пронякин продолжал есть, неторопливо и старательно, как едят утомившиеся люди. Федька все сопел, не зная, с чего начать. Наконец он спросил, придвигнувшись:

— Пивка не выпьешь?
— Не хочется.
— Что так? Веселей бы у нас разговор пошел.

- А мне и так весело.
- Понятно. — Федька откинулся на стуле и заговорил громко, как будто нарочно, чтобы все слышали: — Героем себя чувствуешь. Приятно небось?
- Пронякин не ответил. Федька опять придвинулся.
- Ну чего молчишь?
- Жду: может, ты чего умного скажешь.
- Где уж нам, — вздохнул Федька. — Один ты у нас такой умный. Другие против тебя сплошь дураки.

Федька все ухмылялся, лукаво сощурившись. Но если б он вдруг развернулся и ударил, Пронякин не удивился бы. Он весь напрягся, чувствуя, как застучало в виске от еле сдерживаемой ярости.

- Но Федька не ударил. Он спросил лениво:
- А встречали как — не понравилось?
- Понравилось, — сказал Пронякин, глядя на него в упор. — Это не ты ли свистел?
- Нет. — Федька замотал головой. — Не я. Такие штуки не уважаю. И, между прочим, если б знал кто, сам бы, может, ему по физике свистнул.
- Это и я сумел бы.
- Ну понятно. Смелый парень, что и говорить. Одно, понимаешь, непонятно: что же это ты делаешь, черт с рогами? За что ты нам всем в морду плюешь?
- Это как?
- А так! — сказал Федька. — Думаешь, ты один такой — все можешь? А другие не могут? В коленках слабы? Ошибаешься, Витя. Тут покрепче твоего найдутся. Только наш "ЯАЗ" не потянет, хоть ты ляжь под него. Может, и рады бы лечь, только он все равно не потянет. Так что, пойми, мы тут не от хорошей жизни груши околачиваем.

— Сочувствую вам, — сказал Пронякин. — Да помочь не могу.

Федька молчал, уставясь на него тяжелым взглядом побелевших глаз. От злости у него дрожали скулы.

— Помохи никто у тебя не просит. А просят, чтоб ты жлобом не был... который за четвертную перед начальством выпендривается. Ей-Богу, перед другими бригадами за тебя совестно. Приняли вроде бы тебя неплохо, да и сам ты поначалу ничего показался... Или, может, что не так было? Может, обижаешься?

— Нет. Давно уж не обижаюсь.

— Ну так за каким же чертом в дождь ездишь? Кому глаза колешь? Или хочешь, чтоб нас потом Хомяков пиявил — вот, мол, был почин, а не поддержали?..

“Вот оно что! — подумал Пронякин. Тяжелая квадратная голова Мацуева склонилась над кружкой, которую он сверху накрыл ладонью и, хмурясь, шевелил бровями. — Значит, сам ты запретить не можешь. А к Хомякову ты не пойдешь”.

Было тихо, лишь звякала посуда, и еще Гена Выхристюк, небрежно облокотясь на прилавок, кокетничал с поварихой:

— Приходишь к вам с единственным стремлением в мыслях — быка съесть. А похлебаешь кулешику вашего, кашки пшениненькой, то да се, и аллес гут гемахт, как немцы говорят, а по-русски значит — боле не желается!

Повариха расплывалась лоснящимся лицом и утирала тряпкой могучую розовую шею.

— Я за ваши глаза не отвечаю, — громко сказал Пронякин. — А стыдиться вам тоже нечего.

У меня "мазик" хотя и старенький, да удаленький. Так что я свои двадцать две ходки сделаю. Смогу — и двадцать третью сделаю.

— Много, думаешь, толку от твоих ходок? — сказал Федька. — Только экскаватор зря энергию жгет.

— А про то не моей голове думать. Я не геройством занимаюсь... Просто я, понимаешь, на твой гарантированный двадцать один рублик не согласен.

— Что ж ты раньше не сказал, чудак? Мы бы уж тряхнули мошной, так и быть, насобирали бы тебе по рублику. Или даже по трешке. А то — давай кепку, пройдусь. Хочешь?

Пронякин промолчал, едва сдерживаясь, чтоб не заорать на Федьку. Это вышло бы и вовсе по-дурацки.

— Значит, так? — спросил Федька, вставая. — Хорошего не делаешь, гляди, Витя, учти.

— Гляжу, — сказал Пронякин. — Сам гляди.

Он доел, тяжело двигая желваками, выпил прозрачный компот, заедая черным хлебом, и встал. Проходя мимо них, он натягивал кепку так, чтоб локтем прикрыть лицо. Они были заняты едой и пивом.

До конца перерыва оставалось слишком много времени, которое некуда было деть. Он поставил свой "МАЗ" у въезда в траншею и курил, ожидая сирену. Но ему не курилось, ему хотелось бросить все и уйти пешком в поселок. Он еще успеет на последний автобус, если только автобусы ходят по такой грязи, а не то пройдет пятнадцать километров пешком до шоссе, а там проголосует, а из Белгорода пошлет телеграмму жене, чтоб выслала денег на дорогу.

Но тут же он вспомнил, что жена и сама, наверное, уже в дороге. "Хоть бы скорее ты приехала", — сказал он ей.

Послышалось несколько тугих, упругих ударов. Это была последняя серия взрывов. Потом сирена дала отбой.

За час дорогу совсем завалило комьями раскившейся глины, и ему пришлось сбросить скорость на первом же спуске. К тому же вдруг отказал дворник, а стекло залепляло мельчайшей капелью. То и дело приходилось протирать его рукавом. Из-за этого он не сразу обнаружил экскаватор Антона. Забой, в котором они работали, был теперь разворочен взрывом, а экскаватор стоял в полусотне шагов от него, и Антон тащил на плече провода.

— Ты что? — спросил Пронякин. — Никак, сматываться решил? — Втайне он даже надеялся на это.

— Вылезь, — сказал Антон. — Погляди-ка, чего они там наковыряли.

Пронякин подошел к забою. Антон бросил провода и тоже подошел. Он оставил свою куртку в кабине и был в тельняшке с закатанными выше локтей рукавами и в тапочках на босу ногу, а на затылке чудом держалась крохотная кепочка — точно не было морози и холода, пронизывающего до костей.

Там, куда они смотрели, среди рваных ломтей серо-голубой глины лежало несколько осколков какого-то камня, присыпанных красной пылью. Пронякин сошел вниз и, подняв один осколок, вытер его о штаны.

Осколок лежал на его ладони. Он был тяжелый и острый, как обломок гранита, и точно склеенный из разных, плохо пригнанных друг к другу пласти-

нок. И цвет у него был странный: издали грязнобурый, как запекшаяся кровь, а вблизи — с сильными проблесками сиреневого, переходящего в темносвинцовый. Точно железо в горне, нагретое до малинового каления и слабо мерцающее, остывая под слоем окалины и пепла.

- Это чего? — спросил Пронякин.
- Надо полагать, синька, — сказал Антон.
- Синька?
- Ну да. Самая что ни на есть богатая курская руда.
- Неужто курская руда?
- Ну, скажем, белгородская — сказал Антон. — Да ты чего — первый раз видишь? У меня ж таких полна тумбочка...
- Не знаю, — сказал Пронякин. — Не видел.
- Вон взрывники идут, они тебе все объяснят.

Меланхолично и не спеша взрывники осматривали развороченные лунки. Их было трое, в одинаковых брезентовых дождевиках с остроконечными капюшонами и в резиновых сапогах, — три фигуры, появившиеся из туманной полутьмы карьера, будто тени, внезапно отделившиеся от стены. Они пошли, шагая по лужам, и у них оказались одинаковые лица с застывшим на них разочарованием. Оно, вероятно, было такой же их принадлежностью, как дождевики с капюшонами, резиновые сапоги и непременное: "Взрывник ошибается только раз в жизни".

— Ну что, ребятишки, — спросил Антон, — набабахались вволю? Не знаю, как у вас, а у меня таки башка колоколом звенит.

Они посмотрели на него с легким презрением.

— Разве ж это взрывы? — сказал один из них.

— Дали бы тонн тридцать динамита, так мы б тебе бабахнули. Враз бы рудишка выскошила.

— А карьер? — спросил Антон. — Эдак вы и карьер завалите.

— Вот то-то и оно, — вздохнул второй.

Пронякин молча протянул взрывникам осколок, на который они покосились нехотя, и первый из них равнодушным тоном объявил:

— Синька. То, что ты держишь, синька.

— Стало быть, руда?

Они пожали плечами.

— Не ошибаетесь?

Второй с готовностью отчеканил.

— Взрывник ошибается только раз в жизни.

— Ведь это что же значит, — спросил Пронякин, — ведь это мы, выходит, в руду пробились?

— Погоди пробиваться, — сказал второй из них,

— не пробились, а извлекли.

— Не один черт?

— Ты, Витя помалкивай, — сказал Антон, усмехаясь. — Они, понимаешь, корифеи, им видней.

— Пробиться, — объяснил третий, — это значит в большую руду.

— А это какая? — спросил Пронякин. — Маленькая?

— Не маленькая, а просто, должно быть, глыба.

Тут, верно, и ковша не наберется.

Третий из них, с розовым шрамом, пересекавшим бровь, и с замусоленным блокнотом в руках, был, наверное, старшим. Он сошел в забой и стал разгребать руду носком сапога. Под ней опять была глина.

— На сколько заводили? — спросил он, не обворачиваясь.

— Метра на два, — ответили двое других.

— А точнее.

Они задрали полы дождевиков и вытащили такие же замусоленные блокнотики.

— На два метра, — сказали они почти одновременно.

— Маловато, — сказал старший и вздохнул. Потом он поднялся к ним. — Это какая отметка? Двести девятнадцать? В воскресенье попробуем массовый выброс. Здесь.

Тень улыбки прошла по их лицам. Они давно мечтали о массовых выбросах. Стоя над забоем, они пометили что-то в своих блокнотиках и спрятали их, все трое, под полы дождевиков.

— Вот так, — сказал старший. И снова вздохнул.

На их лицах оставалось все то же разочарование. Они постояли и ушли, так же не спеша, как и появились, и растаяли в туманной полумгле. Затем Пронякин снова увидел их, поднимающихся друг за другом по деревянной лестнице. Они поднимались к своей палатке, спрятавшейся на краю карьера, в дубняке.

— Пошли, — сказал Антон. — Нечего тут стоять. Вези породу.

— Повезу, что же делать.

Пронякин все стоял внизу, разгребая глину носком сапога. Потом выбрал несколько крупных осколков и набил ими карманы.

— На память берешь? — спросил Антон.

— Что-то не верю я твоим корифеям. Да они и сами себе не верят.

Антон усмехнулся и не ответил. Молча они подвели машину к экскаватору, и Антон спрыгнул с подножки, поднялся в свою кабину и наполнил ку-

зов серой и вязкой глиной, уныло бухающей при ударах о железо бортов. На нее было тошно смотреть. И Пронякин, посмотрев, как она уложена, скривился, как от зубной боли, и молча отъехал. Проезжая мимо забоя, он снова увидел синие, сверкающие под дождем осколки и, притормозив, крикнул Антону:

- Слушай, подводи сюда свою машинку!
- А я чего делаю? — ответил Антон. — Мне там положено ковыряться, я и подведу.
- Давай. Они, понимаешь, корифеи, а ты все же таки подводи...

Пронякин поднялся наверх сравнительно легко, по старой своей колее, и застопорил у конторы. В тесном коридоре на полу, привалясь к стене, сидели шоферы. Они разговаривали и смотрели на дождь в распахнутую настежь дверь. Он прошел мимо них тяжелыми хлюпающими шагами и кулаком распахнул дверь в комнату начальника.

Хомяков сидел на краю стола, заваленного бумагами, и, раскачивая ногой, диктовал осевшим монотонным голосом:

— ... В текущем третьем квартале текущего тысяча девятьсот шестидесятого года нами было вынуто экскавацией... песков, суглинков и непромыщленных, а также скальных пород... скальных пород... общим объемом... Входи, Пронякин, слушаю тебя.

На фоне окна плоско темнел силуэт женщины. Она повернулась и вышла на свет, и он узнал ее. Он танцевал с нею тогда на "пятачке". Только теперь она была в лыжных мохнатых штанах и грела руку в кармашке перкалевой куртки.

— А, это вы! — сказала она. И спросила, чтобы что-нибудь спросить: — Что, много воды в карьере?

— Хватает... А вы почему знаете, что я из карьера?

— А потому, что здесь уже говорили про вас.

Она смотрела на него с любопытством, шурясь и положив в рот кончик карандаша. Пронякин, поколебавшись, протянул осколок Хомякову.

— Что это? — Она постучала карандашом по куску руды. — Это синька, Володя.

— Вижу, — сказал Хомяков, не меняя позы. — Откуда это у тебя? Где взял?

— Где взял, там не убудет, — ответил Пронякин.

— Пожалста.

Он вывалил все, что у него было в карманах, на стол. Хомяков отодвинул бумаги.

— Давно ты оттуда?

— Только что. Да вот в обед взрывали, полчаса не прошло.

— Прошло, — сказал Хомяков. — Полчаса прошло. А взрывники не звонили мне.

Пронякин пожал плечами.

— Не знаю. Наверное, сомневаются они.

— А ты не сомневаешься? — Хомяков взял его за локоть неожиданно сильными, цепкими пальцами и легонько притянул к себе. Он был очень спокоен, он снисходительно улыбался, едва заметно, одними глазами, сквозь очки, а все-таки пальцы у него подрагивали, и Пронякин это чувствовал локтем. — Ну что ж, это даже хорошо. Не знаешь, какая отметка?

— Точно не скажу. То ли сто девятнадцатая, то ли двести. В общем, вот так. Это аж в том конце. Как раз где нижний экскаватор стоит.

— Слушай-ка, милый, а ты знаешь, что такое двести девятнадцатая отметка? Это не на том конце и не на этом. Это двести девятнадцатый метр — от уровня мирового океана. Понимаешь? А нам обещали умные люди, что промышленный уровень начнется не раньше двести шестнадцатого. Отсюда мораль: три метра вскрыши. Копать нам, не перекопать.

— Что-то не верю я вашим корифеям, — упрямо сказал Пронякин. — И умным людям не верю. Я вот чувствую — копни только поглубже...

— Понятно, — улыбнулся Хомяков. — Успокойся, Пронякин. Выпей воды. Это какой, Риточка?

— Не знаю. — Она улыбнулась тоже. — Третий, наверное?

— Нет, — сказал Хомяков. — Это седьмой. Третий был Коля Жемайкин. Он приволок мне на плече вот эту чертову дуру. Из-за нее у меня теперь не открывается ящик. — Он постучал пяткой по тумбе стола.

— Ну-ка, Пронякин, у тебя силы много... Нет, нижний не пытайся. Тащи любой повыше.

Пронякин с трудом вытащил ящик. Он весь до краев был полон такими же осколками. Пронякин взял один из них и сравнил его со своим. Должно быть, вид у него был ошарашенный, потому что Рита посмотрела на него участливо и как будто с сожалением.

— А ты знаешь, Пронякин, — спросил Хомяков, — что такое джин в бутылке?

— Ну, допустим...

Он не знал, что такое джин в бутылке. Он никогда не пил джина. Он пил обычно водку и пиво.

— Когда ко мне прибежал впервые Боря Горобец и принес вот такой осколочек, я его чуть не расцеповал. И Борю, и осколочек. И побежал в карьер.

На полусогнутых. Задрав штаны от радости. Но прошло еще три тысячи лет, и если ко мне еще кто-нибудь придет и притащит вот такую глыбу... вот такую, Пронякин... и скажет: "Бегите, там пошла руда", — я уже не побегу. Я, наверное, запущу в него графином.

Пронякин стоял, тяжело наклонив голову, сминая и разминая в руках кепку. Он чувствовал себя так, точно его уличили во лжи. Он хотел предложить Хомякову поехать с ним сейчас в карьер и боялся, что тот поднимет его на смех.

— Так что я не побегу, — повторил Хомяков.
— Если бы ты мне еще машину привез, ну, тут уж не захочешь, а побежишь... Ох, черт, а сердчишко-то все-таки екает. Напугал ты меня. Ну, ладно, Пронякин, я тебя приветствую. Извини, ради Бога, зашлились мы тут совсем с этой бюрократией.

— А все ж таки... — сказал Пронякин.

Он не знал, что такое "все ж таки" и почему ему так захотелось, чтобы руда появилась сегодня. Может быть, потому, что ему так мало везло. Может быть, все повернулось бы опять к тем солнечным дням, когда еще не было дождей, когда все как будто хорошо начиналось и никто не говорил ему, что он кому-то колет глаза.

— Ступай, ради Бога, — сказал Хомяков, досадливо морщась. — Не срамись. Ты же умный парень... Дождь идет. Ну какая сейчас может быть руда!..

Пронякин медленно повернулся и пошел к двери.

— Да, постой-ка, — сказал Хомяков. Он снял очки и протирал их мятным серым платком. — Мне говорили, что ты ездишь под дождем в карьер. Это опасно, Пронякин. Я должен тебя предупредить. Пони-

маешь, это ненужные фокусы. Почина здесь не получится. Подумают, что ты просто гонишься за заработком.

— Может, так оно и есть, — сказал Пронякин.

Он ждал, что они еще что-нибудь скажут ему. А они ждали, когда он уйдет. Он надел кепку и вышел.

В коридоре уже никого не было. И возле кonto-ры тоже никого не было: одни, верно, набились в столовую, а другие дремали в кабинах, прислонясь виском к стеклу. Он стоял посреди пустыря, под моросящим дождем, в грязи, жирно расплывавшейся под его сапогами, решительно не зная, куда себя деть. Потом увидел свой "МАЗ", стоящий с полным грузом и невыключенным двигателем. Вот это, пожалуй, единственное, что можно было сделать, не слишком ломая голову, — поехать и высыпать породу в отвал. И он побрел к машине, сел в нее и поехал.

Маленькая фигурка все еще горбилась под навесом и слабо зашевелилась при виде его.

— Совсем забыл про тебя, — сказал Пронякин.

— Полезай в кабинку, хватит тебе мокнуть. Да и покушать пора.

— А ты больше не будешь ездить?

— Наверно, не буду.

— Что же ты! — сказала она, усаживаясь. — Ты же только восемь сделал.

— А пес с ними, с ходками. Я, может, сейчас руду повезу. А может, не повезу.

— Руду-у?

— Ага-а...

— Большую?

— Ничего, порядочную.

— Пробились, значит? Ты пробился?

— Да не я. И не пробились, а извлекли. Корифеи говорят, поняла?

— Ой, слушай... Я с тобой поеду в карьер! — сказала она решительно.

— Дуреха ты, — ответил он удивленно и, мгновение поколебавшись, вспомнив заваленную глиной дорогу, покачал головой. — Никуда ты со мной не поедешь. Обедать будешь. У конторы ссажу.

— Ну возьми, пожалуйста. Я очень прошу. Очень.

Он помолчал — ему все-таки хотелось взять ее — и ответил:

— Нет.

Он высадил ее у конторы, и она возвратила ему ватник. Она все не уходила и смотрела на него, зябко поеживаясь.

— Ну, не обижайся, — сказал он. — Иди. В другой раз покатаю.

— А может, подождать тебя?

— Зачем?

Он включил сцепление и поехал. Лужи блестели в карьере, они расползлись и уже соединились проливами, а пробившаяся подземная вода стекала в них с рыжих ржавых утесов. И на дороге тоже блестели лужи. На повороте, когда его стало заносить, он догадался сбросить скорость и вытер рукавом мгновенно вспотевший лоб.

Экскаватор уже стоял в забое, наклонившись вперед, как судно, уткнувшееся носом в крутую волну, и стрела ходила снизу вверх. Он подъехал вплотную, хотя это было строжайше запрещено: повернувшись, экскаватор мог повалить и раздавить машину.

Антон показался в разбитом окне и закричал сквозь гудение моторов:

— Витья, кажись, и в самом деле большая пошла. Я вот ее разгребаю, дуру, разгребаю, а она не кончается!..

— Она не кончится, Антоша! — заорал Пронякин, чувствуя неожиданный и сильный прилив нежности и к Антону, и к стреле с умной и хитрой мордой ковша, и к руде, которая не кончается. Он объехал весь забой, полный синих осколков, и опять подкатил к экскаватору. — Она теперь, видишь ли, до самого центра земли. Тут тебе на тысячу лет разгребать, Антон!..

— Чего ты разошелся? — спросил Антон. — И куда ты, балда, подкатываешь? Я ж тебя угробить могу в два счета.

— Можешь, Антоша! — обрадовался Пронякин.
— Все можешь.

— Ты сказал там кому-нибудь?

— Понимаешь, они же все сдурали. Мы им такого гвоздя воткнем!

— Ладно, не хорохорься. Ты лучше подставляйся. Сейчас я тебе ковшик всыплю. Первую повезешь!

Отъезжая и разворачиваясь, Пронякин стоял на подножке, правя одной рукой, и орал:

— Антоша, на один ковшик я не согласен. Ты мне лучше полтора насыпай!

— Полтора не потянешь! — крикнул Антон, заводя ковш снизу. — От силы — с четвертью. Да куда тебе столько?

— Не могу я один ковш везти, Антон!

— Почему не можешь, Витя?

— Потому что я привезу, а они скажут: "Поду-

маешь, один ковшик наскребли!" А я им: "А вот и врете, а вот и не один, а с четвертью. Сколько мог, столько и взял. Мог бы три взять — три бы взял!"

— Ну хрен с тобой, — сказал Антон. — Подставляйся!

Перебирая рычаги и напряженно всматриваясь, он вывел ковш и задрал его высоко в белесое небо. Тяжелый ковш закачался над машиной, постепенно опускаясь, и вдруг, лязгая, отвалилась его нижняя губа, и в кузов со звонким железным стуком обрушилась мокрая синька. Машина, заскрежетав, осела на рессорах.

— Хорошо кладешь, Антон! — закричал Пронякин. — Просто дивно. Всегда бы так сыпал. Только жилишь ты, Антон. Неполный кладешь.

— Кто тебя разберет... Может, хватит? Дальше-то ее рыхлить надо.

— Уговор, Антоша! Четверть клади.

— Витья, ты ж учти: руда — она тяжелая.

— А была бы легкая, так я б ее в кепке дотащил.

Еще четверть ковша машина почти не почувствовала. Она и без того глубоко сидела на рессорах.

— Видишь, — сказал Пронякин, пиная носком баллон. — Что это для нее? Чем больше кладешь, тем ей легче.

Антон вылез и, подойдя, покачал с сомнением головой.

— Может, отсыплемь все-таки, Витя?

— Ни грамма! — сказал Пронякин. — Ничего, зато сцепление лучше.

— Лучше-то лучше, — сказал Антон. — Но уж если поползет...

Он посмотрел вверх, на петляющую дорогу, и на миг Пронякину стало страшно.

— Да, уж если поползет... Ладно, не ворожи. Доеду. Зато уж какого гвоздя мы им воткнем!

— Тихо как, — сказал Антон. — Все куда-то прятались. Хоть бы речу кто-нибудь толкнул, что ли...

Дождик все накралывал, и Пронякин сказал:

— Валяй в будку, Антон. Простудишься.

— Лирик ты, — сказал Антон. — Есенин... Завтра погуляем, а? В кинишко сползаем. Чего-нибудь, наверно, хорошенькое привезут.

— Наверно.

Пронякин сел в кабину. Антон не выдержал, пошел рядом с машиной и вскочил на подножку.

— Не надо, Антон, отстань, застиль мне только свет, — сказал Пронякин. — Я сам повезу. Понимаешь, мне надо, чтобы я сам привез...

— Ладно, — рассмеялся Антон, соскакивая. — Сам так сам. Покличь там напарничка моего, пускай сменит. А то не евши который час сижу.

— Покличу, — сказал Пронякин.

Когда он уже отъехал немного, Антон закричал ему вслед:

— Лопата у тебя есть?

— Есть.

— Почаще соскребывай. Скользит, а?

— Скользит, проклятая.

— Полежишиль миллион лет, не так заскользишь,

— сказал Антон. — Скажи там, пускай бульдозер пришлют.

— Скажу!

Он ехал — нога над педалью тормоза, а другой он выжимал до предела подачу топлива, а руки вцепились в баранку и лежали на ней локтями. Отчаянно буксую, виляя задом, машина взяла первый подъем.

Он вздохнул облегченно и почувствовал, как жарко его спине и лицу.

— Тяжела! — сказал он себе и опять устрашился этой глины, свинцово-голубой и скользкой, как раскисшее мыло. — А ничего не тяжела! Сукин ты сын, Пронякин, — сказал он громче, чтоб подбодрить себя и машину. — И больше ничего!

И снова он выжал педаль подачи топлива, упершись плечами в спинку сиденья, и быстро переключил скорость. Стрелка спидометра дрогнула и поползла — так медленно и напряженно, точно это она и тащила перегруженную машину. Он призвал к себе на помощь все мужество и злость, все свое отчаянное умение и лихость шофера, исколесившего много дорог, бравшего много подъемов. Он хотел бы все это передать теперь машине, от которой он ничего не мог потребовать, а мог только просить:

— Ну, еще немножко, милая! Ну вот, ты же умеешь, в тебе же силы столько. Ну, не дрожи, не раскисай, не бойся, ведь руду везешь!..

Он повернулся, стараясь держаться ближе к склону, и опустил руку на рычаг, чтобы притормаживать двигателем, если машина покатится назад. Но все обошлось, и он вздохнул облегченно, взобравшись на третий горизонт. Тогда он выглянул и поиском глазами Антона. Тот стоял неподвижно и смотрел, задрав голову, вверх. Пронякин едва различал полосы на его тельняшке. И едва долетел до него крик Антона:

— ... скребыва-ай!

— Ничего! — ответил Пронякин, не надеясь, что Антон его услышит, хотя ему самому несколько раз, когда сильно заносило зад, хотелось вылезти и

соскести лопатой налившую глину. — Ничего, доеду!

А машина все шла, и ничего с нею не случалось, и понемногу страхи его рассеялись, а мысли обратились к тем, кто ждал его там, наверху.

— А вот я вам всем и докажу, — бормотал он, стискивая зубы, в то время как руки его одеревенели на барабанке, которая могла в любую секунду вывернуться. — Сейчас увидите. Сейчас пожалеете, мне бы только доехать!

Чаша карьера поворачивалась под ним, как горная долина под крылом самолета. Она была заткана мельчайшей сетью дождя, и дно ее с блестевшими лужами терялось в сизой полутьме. Он снова вспомнил о глине — сколько он намотал ее на колеса, — и опять ему сделалось одиноко и страшно. У него закружилась голова и похолодело в груди.

Но вдруг ему пришло в голову такое, отчего снова стало легко и весело. Он увидел себя, как он подъезжает к конторе, поднимает кузов и вываливает все это, что он привез, прямо в слякоть и грязь, прямо перед крыльцом. А потом стоит и хочет, хватаясь за бока и глядя на их выпученные глаза, — долго и язвительно.

Впрочем, не очень долго. И не очень язвительно. В конце концов они неплохие, теплые ребята; черт знает, какая кошка между ними пробежала. И что он им станет доказывать? Он просто вывалит руду, да и все, и пусть копаются в ней, и он тоже будет копаться, перебирая тяжелые синие осколки.

Так он поднялся на четвертый горизонт, где уже совсем не пахло затхлой сыростью карьера, — только пьянящий запах своей же солярки. Он убрал ногу

с педали тормоза и поехал, правя одной рукой, высунившись под дождь и ветер.

— Эй, где вы там, черти с рогами? Сеноман-альба! Апт-неокома! — закричал он просто так, чтобы успокоить себя и машину. Потом повернул голову, увидел совсем уже крохотного Антона и закричал ему: — Антоша! Погуляем, а?

Антон стоял и не двигался и все смотрел вверх.

“Чего это я? — спросил себя Пронякин. — Чего это с тобою нынче сделалось? — Он вертелся на сиденье, как на горячей плите. — Чего ты петушишься? Приснилось тебе, что ли, чего?”

Его охватило вдруг странное ощущение нереальности всего, что он делает. Как будто это было с ним не теперь, а когда-то, давным-давно, может быть в детстве, когда он бежал с какой-нибудь радостью к матери и знал наверняка, что она обрадуется, потому что лучше всех это умела делать она одна, о которой он уже почти ничего не помнил. Но между тем справа был мокрый глинистый склон карьера, а слева — обрыв и серое слезящееся небо, и это он, Пронякин Виктор, вез первую руду с Лозненского рудника. Руду, которую ждут не дождутся и Хомяков, и Меняйло, и Выхристюк и про которую завтра утром, если не нынче же вечером, узнают в Москве, в Горьком, в Орле, в Иркутске и в других местах, где он успел побывать и где не пришлось. Он вспомнил, как говорили в поезде, когда он ехал сюда, что ни один рудник в мире не выдает такой богатой руды, как эта знаменитая синька, в которой до семидесяти процентов чистого железа. Она потому и синяя, что вороненое железо смотрит из нее на белый свет.

“А любопытно бы знать, что из нее сделают, из

этой руды? — вдруг пришло ему в голову. И в нем опять заговорила старая привычка подсчитывать. — Антошка мне верных шесть тонн сыпанул, это как пить дать, я ж чувствую. Ну, скинем полторы шлаку, ну две, но ведь тонны четыре чистых! Во, страсти какие. А много ли это или мало, Пронякин? Как знать. Для хорошего дела всегда не хватает, это уж известно. И куда она пойдет, чем она станет, ты тоже наверное, не узнаешь... Но это, наверное, и не моего ума дело, мое дело только везти, ну вот я и везу. И всегда мое дело было только везти, а что тебе там в кузов положат, то уж не наша забота, лишь бы рессоры не садились. Очень неважно себя чувствуешь, когда рессоры садятся. Вот как сейчас..."

А машина все шла, она приближалась к цели, он чувствовал это каждым нервом, и это было сильное чувство, даже, пожалуй, слишком сильное, потому что от него нетерпеливо подрагивали руки, а вот это уже было плохо.

"Только не надо сейчас об этом, — приказал он себе. — После об этом. Ты лучше — глаза в руки и гляди, гляди на дорогу".

И он все смотрел на дорогу, на комья глины, которые приближались и уползали под колеса, и ничего не мог с собою поделать.

"А когда же "после"? — спросил он себя. — Вот так мы все на "после" оставляем, а на самом-то деле потом уже о другом думаешь и — не так. И кому же думать, как не мне, ведь это я везу. Я, не кто-нибудь! И не последний я, а первый..."

"Сказать женульке, не поверит, — подумал он печально. — И правда, уж столько мы с тобою мыкались, столько крохоборничали, что и поверить теперь трудно, хотя ты меня и знаешь... Но ведь

хлопцы-то подтвердят, хлопцы же врать не станут?"

Так он поднялся на последний, пятый, горизонт и повернул к выездной траншее. Здесь он всегда обгонял их всех, но теперь гнать не следовало, а нужно было взять себя в руки, и успокоиться, и ждать, когда покажутся верхушки яблонь. Он ждал их долго и заждался, а когда они наконец показались — сизые и едва приметные на сером, — он даже забыл сказать им свое обычное: "А вот и мы!" — и круто повертил к ним, видя, как они сливаются густыми кронами, видя людей, показавшихся вдали у выезда.

И вот эти яблоньки дрогнули и поползли — влево, все влево, к краю ветрового стекла, оставляя за собой прямоугольник пустого хмурого неба. Он не сразу понял, что такое случилось с ним, а потом почувствовал мгновенную дурноту и слабость. Весь обливвшись потом, он круто вывернул руль в сторону заноса — это всегда кажется страшным, но в этом всегда спасение. Яблоньки остановились, но назад уже не поползли, и он рассердился на себя:

"Зеваешь, скотина! Хорошо еще, девку не посадил, вот уж было бы визгу. Но ты все-таки, Пронякин, смотри, этак недолго и загреметь..."

Но он уже гремел, хотя и не знал этого, потому что не видел, как левое заднее колесо зависло уже над обрывом и вращается — бешено и бессильно. А другое колесо, жирно облепившееся глиной, слабо буксовало на мокром бетоне, и машина потеряла ход, а значит, и не слушалась руля, хотя он вцепился в баранку со всей силой испугавшихся рук.

Он все понял, когда, вывернув руль еще и еще раз, уже не смог поставить на место яблоньки, все

ползущие влево. Просторная кабина стала вдруг тесной, как ящик, в который тебя втиснули, согнув в три погибели. Он успел бы выскочить из нее, если бы ехал с открытой дверцей, если бы сиденье водителя было справа и если бы он догадался выскочить в первое же мгновение.

Вдруг он увидел тучи, быстро пронесшиеся в ветровом стекле, услышал скрежет резины и дробный стук посыпавшейся руды. "Рассыпал, скотина!" — сказал он себе. — Доигрался, допрыгался, оглед, дерымо собачье! — Он уже не боролся, а лишь держался за баранку, смутно надеясь, что машина удержится на четвертом горизонте. — Но если нет, тогда — все! Восемьдесят пять метров. Все!"

Машина не удержалась на четвертом горизонте. Она тяжко сползла и грохнулась о бетон, а потом заскользила, и тяжесть руды повлекла ее дальше, вниз. Он увидел белый пласт мела, потом небо и новый, коричневый пласт, и снова небо, а затем нарастающий в полутьме свинцово-голубой цвет — цвет океана, приготовившегося к шторму.

Что-то ударило сзади по кабине, и он услышал жалобный вопль сплющившегося железа. С грохотом покатилась руда. "С машиной все — загубил "мазика", — успел он подумать. И тут же ощутил жестокий хрустящий удар чуть ниже затылка, от которого брызнули слезы и все слилось в черно-желтом хаосе вращения, а голова вдруг потеряла опору. Второй удар пришелся в борт и в стекло, и он инстинктивно зажмурился и сполз коленями на слякотный пол кабины, прикрываясь локтями, чтобы осколки не попадали в лицо. Но ударило в третий раз, и осколки попали в локоть.

"Когда же кончится? Господи, когда же кончит-

ся?" — подумал он с тоской, пока его куда-то влекло и было со всех сторон. Но это еще долго не кончалось, он успел потерять сознание от боли в затылке и в локте и снова очнуться, а машина все катилась по склону. Последний удар бросил его сзади на руль, так что сорвало дыхание и что-то хрустнуло в груди, и наконец его потащило куда-то в сторону и рывком остановило. Ослепленный и полузадущенный, он услышал звенящую тишину.

Он не слышал, как отчаянно закричал Антон и звяяла аварийная сирена, и не видел, как полторы сотни людей показались на склонах карьера, как они бросились вниз и бежали, прыгая, оскальзываясь на мокрой глине, падали, и кувыркались, и поднимались вновь, и опять бежали, задыхаясь от бега, чтобы поспеть к нему на помощь.

Он услышал только свист лопнувшего ската и странный капающий звук. В звенящей тишине мерно падали тяжелые капли. Он не знал, что это его кровь, он думал, что из пробитого трубопровода каплет на разогретый чугун солярка.

"Выключить двигатель, — успел он подумать.
— Сгорим..."

Он имел в виду себя и машину.

В сумерках на улице Строителей ровнял мостовую бульдозер. Скрежеща и лязгая, он вдавливал осколки щебня в зыбкое тело дороги и с ревом устремлялся к насыпи чернозема, опуская широкий блестящий лемех ножа, как слон в бою опускает бивни. Насыпь нехотя поддавалась; жирные черные

комья выползали из-под траков, а бульдозер взбирался все выше, задирая нож к свинцовому грозовому небу. Постояв наверху и успокоясь, он скатывался назад и отползал, готовясь к новой атаке.

Бульдозерист посадил рядом с собою маленького сына, и мальчик держался обеими руками за рычаг. Время от времени коричневая ладонь отца накрывала его руки и легонько толкала рычаг. Мальчик весело дудел, вытянув губы и округлив глаза, и смеялся, когда они с отцом почти ложились на спинку сиденья.

Всякий раз, когда они взбирались наверх, он видел пегого жеребенка с черным пушистым хвостом и голенастыми длинными ногами. Жеребенок отбился от матери и тоненько ржал, а потом прислушивался, кося фиолетовым глазом, и мать отвечала ему откуда-то хрипло и тревожно. Тогда он пускал-ся вскачь, взбрыкивая крупом несколько в сторону, но тут же останавливался как вкопанный, опустив голову и крутя хвостом. Он боялся бульдозера и высоких тротуаров, на которых молча стояли люди, а с другого конца улицы медленно приближались к нему шестеро мужчин.

Бульдозер взлез на насыпь и остановился, затихая, и жеребенок тоже замер, широко расставив ноги и глядя на приближавшихся людей, которые шли посередине улицы, касаясь друг друга плечами.

— Папка, — спросил мальчик, — а куда это дяденьку Мацуева повели?

Бульдозерист помолчал и ответил:

— Никто его не ведет. Он сам себе человек. Идет куда хочет.

— А я думал, он не хочет, а идет, — сказал мальчик.

— Значит, нужно идти, сынок.

Мужчины все приближались, и жеребенок, не выдержав, кинулся от них к бульдозеру. Он проскочил в двух шагах, задрав хвост и вскидывая голову; мальчик суворо прикрикнул на него басом. Мужчины свернули на тротуар, и стоявшие там расступились перед ними молча.

— Папка, поехали, — сказал мальчик.

Бульдозер заворчал снова.

Шестеро вошли в "Гастроном". Женщины в большой и шумной очереди тотчас же дружно загалдели на них. Но Мацуев, раздвигая толпу тяжелым круглым плечом, спокойно объяснил, зачем они пришли. Тогда Федька с Косичкиным смогли подойти к прилавку.

Они купили колбасы, конфет, печенья, а Федька еще и четвертинку водки, и пошли через весь поселок к двухэтажному кирпичному строению, обсаженному тонкими прогрессивными тополями, за которым уже не было домов и уходила в лес дорога к аэродрому.

Девица в белом халате приоткрыла дверь и, увидев парней, нагруженных кульками и свертками, поспешила прикрыть ее. Но Мацуев успел втиснуть в щель свой огромный ботинок.

— Снизойди, девушка, — предупредил он угрюмо.

— Не то в окошко полезем.

— Попробуйте только! — сказала сестра, перебирая ключи в кармашке. — Сейчас врачи придет, она вас тем же порядком и выставит.

— А куда она ушла? — спросил Федька.

— А тебе что? На переговорную.

- С Белгородом созванивается?
- А тебе что? Ну с Белгородом.
- А! — сказал Федька. — Ну, так ее как раз доночи будут соединять. Айда, хлопцы.
- Куда это "айда"? Ты же не в "зверинец" пришел все-таки.
- Ты скажи, как ему? — спросил Антон.
- Как ему, как ему! Из шока насилиу вывели.
- Ага, — сказал Мацуев. — А теперь, что — в сознании он?
- Сказала же: из шока вывели. — Она вздохнула. — Только ему все равно очень плохо. Серьезно говорю, плохо. А вы тут кричите, топаете.
- Знаем, что плохо, — сказал Федька. — Было бы хорошо, может, и не пришли бы.

Он инстинктивно потер ладони о ватник, точно под слоем неотмытого масла почувствовал неотмытую кровь на руках, которыми поддерживал разбитую голову Пронякина.

- Ладно, черт с вами, — сказала сестра. — Пусть кто-нибудь один идет.

Мацуев вопросительно взглянул на Антона.

- Нет уж, — сказал Антон.

Тогда Гена Выхристюк мягко и настойчиво постеснил ее и взял под локоток.

- Девушка, не будем разводить дебаты — не будем, правда?

И так же мягко, склоняясь к ней, увлек ее вверх, по чистой холодной лестнице, пахнущей йодоформом и карболкой. Они пошли следом, стараясь не топать и все замедляя шаги. В большой комнате с кафельным полом и никелированными столиками вдоль стен она опять стала сопротивляться.

— У меня только два халата. И врачи сейчас придет. Все равно всех не пущу, так и знайте.

— Слушай, девочка, как же так? — возмутился Гена. — Мы же договорились, что ты умница и все понимаешь...

Она прижала палец ко рту. Кто-то говорил в другой комнате, голос доносился сквозь приоткрытую дверь, тихий и словно раздавленный:

— Ну пусть войдут, сестра... Не мешай...

— Идите, — сказала сестра.

Они увидели край зеленого мохнатого одеяла и руку, чудовищно толстую в бинтах, лежащую на подпорке. Несколько часов назад, когда они разнимали сплющенную обшивку кабинки и срывали ломами резьбу болтов, он был еще свой, еще досягаемый в своем шоферском невезенье. Теперь он был отделен от них толстой корой бинтов, запахом антисептики, всем видом этой комнаты, где сразу стало неповоротливо и тесно их сапожищам и здоровым телам.

— Это можете оставить здесь, — сказала сестра. Она хотела забрать у них кульки и свертки. — Мы его с ложечки кормим.

Но они не отдали и гурьбой вошли к Пронякину.

Он лежал в палате один, распластанный на широкой кровати, чем-то, должно быть, обложенный под одеялом и затянутый по макушку в бинты. Открытыми были только рука, половина рта и глаз. Бинт на щеке прилегал неплотно, и виднелась матовая смуглость кожи.

— Вы не очень мучайте его, — сказала сестра и пощупала запястье на здоровой руке Пронякина. Это выходило у нее уже почти профессионально.

— Главное, чтоб он не двигался.

— У нас не двинется! — Федька восторженно сказал.

Сестра все не уходила. Федька выразительно взглянул на Гену Выхристюка, тот моргнул ему и, полуобняв сестру за плечи, вышел с нею, тихо притворив дверь. Тогда они мигом придвинули пустые койки и расселись вокруг Пронякина.

— Ну как ты, Виктор? — спросил Мацуев.

Он сидел, упершись кулаками в толстые ляжки. Глаз Пронякина медленно поворачивался и оглядывал их всех с тоскливым упрямством, преодолевающим непомерную боль.

— Оперировать тебя будут, Виктор... Теперь хорошо оперируют. — Мацуев улыбнулся очень доброй улыбкой. — Хомякова в Белгород вызвали, докладать насчет руды, с собою врача привезет. На "ЯАЗе" поехал, легковуха не пройдет сейчас. Ты Силантикова, с третьей бригады, знаешь?

— Нет...

— Здоровый такой, — напомнил Федька. — Усиши, как у кота.

— Помнишь, наверно, — засмеялся Мацуев. — Вот он — водитель. Он пройдет. Он, знаешь, проходчивый вроде тебя.

— Я ж вот не прошел...

— Ну, с кем не случается! — Мацуев развел руками и обхватил ими колени. — На то ж мы и шоферы, чтоб этак вот иногда...

— А не тужи ты! — сказал Косичкин. — Знаешь, случаи какие бывают? Страшное дело! Вот у нас на фронте, да в нашей же автороте, чудака одного осколком по животу — чирик! Ремень вот так разрезало — и кишкы на волю. Так ты думаешь, он что? Он это все добро аккуратненько в пилоточку, с

песком, с хвоей — в лесочке мы как раз стояли — и в медсанбат. Ну, правда, не сам, повели его. И — зашли. И жил потом. Ну потом ему правда что голову отнесло. Так ведь голову ж!..

Федька занес руку назад и гулко хлопнул его в лопатку.

— Ты чего это? — обиделся Косичкин.

Федька блуждал глазами по потолку.

— Ты думаешь, я к чему? А к тому, что есть люди, понимаешь ты, с широкой костью, с жилой, с накопцом, что ли. Энергия из них прямо стреляет, вон как из Витьки. Такой зазря не помрет. Не-ет!

Они посмеялись сдержанно. И Косичкин посмеялся тоже, открыв желтые изъеденные зубы.

— "Мазик" мой как? — спросил Пронякин.

Мацуев отвел глаза в сторону.

— Про "мазик" не беспокойся. Его ведь и так уж списать хотели. К тому же двигатель в хорошем состоянии. Починим, что ему сделается... Тебя бы вот, дурака такого, починили скорей.

— Меня уж не починишь...

— Ну, ты это брось, Витька, — сказал Федька не очень уверенно.

Пронякин помолчал и потом снова разлепил склеившиеся губы.

— Теперь бы дожди не помешали...

— А пес с ними, с дождями-то, — сказал Мацуев.

— Теперь уж не страшно. Теперь по руде будем ездить, она не размокнет.

— А выше... все бетонка будет?

— Все бетонка.

— Там... на повороте, где сверзился я, пошире бы надо сделать...

— Сделаем пошире, — пообещал Мацуев.

Они помолчали. Мацуев шумно вздыхал. Он что-то еще хотел сказать.

— Тебе, может, еще чего принести? — спросил Антон и вдруг почему-то нахмурился. — Выпить не хочешь? А то, вон у Федора есть.

Кисти рук у Антона были забинтованы тряпками. Он встретился глазами с Пронякиным и спрятал руки за спину.

— Желаешь? — спросил Федька и с готовностью полез в карман.

Сестра вдруг открыла дверь.

— Это чего это у тебя? Чего вы ему даете? Водку паршивую? Не вздумайте.

— А что? — обиделся Федька. — Для облегчения. Я знаю, чего делаю.

— Много ты знаешь! Ему для облегчения вино хорошее требуется. Или чистый спирт. Мы уж тут поили его. А самое лучшее — коньяк пятизвездочный.

— Н-да, — сказал Федька. — Курорт. — К этому слову от относился неприязненно. — Не угадали, значит.

— А это можете выкинуть.

— Выкинем, само собой, — пообещал Федька и спрятал четвертинку в карман.

Гена Выхристюк мягко увлек сестру и притворил дверь.

— Строга стала Нинка-то, — сказал Федька и вздохнул. — Вот так и загубят человека до гробовой доски.

Мацуев придвинулся к Пронякину, и тот увидел вблизи морщинистую темную кожу у него под глазами и табачную седину на висках.

Мацуев смотрел на него откровенно горестным

взглядом, покачивая головой, Меняйло — сурово и с мучительным напряжением. Федька пробовал ободряюще улыбнуться. "Должно быть, плохи мои дела", — подумал Пронякин.

— Ладно, хлопцы, — сказал он, когда молчание затянулось. — Вы уж идите... Да нет, не подумайте чего. Просто, плохо мне...

Они поднялись и мяли кепки в руках.

— Знаешь, Виктор, — сказал Меняйло угрюмо и виновато, не глядя на него, — ты все же зуб на нас не имей.

Пронякин усмехнулся одной половинкой губы.

— Имел бы, да вышибло. Теперь не имею.

— А завтра опять навестим, — пообещал, выходя, Мацуев. — Ты уж не сомневайся.

Антон остался. Он постоял над кроватью и осторожно потрогал забинтованную руку Пронякина.

— Как же ты так, Витя?

— Ну что ж, Антоша, дерымовый я, значит, шофер...

— Ты этого не смей говорить, — строго приказал Антон. — И думать даже не смей. Ты, как бог, шел. Всю дорогу — как бог! Только под конец повернул резко. И не послушался, чудак, я же кричал тебе: "Соскребывай". Ты не слышал, наверно?

— Слышал... Что это у тебя ... с руками?

— Поободрал маленько. Очень ты крепко в кабинке застрял.

Пронякин вздохнул и потянулся головой назад, скрипнув зубами.

— Ты поправься, Витя, — попросил Антон. — Обязательно, слышишь, поправься. Мы ж еще погулять с тобой должны. — Он вдруг широко улыбнулся и, присев к Пронякину, склонился над ним. — А что

ни говори, здорово это мы с тобою, а? Будет что вспомнить!

— Да...

Улыбка медленно сползла с лица Антона, точно он вспомнил что-то лишнее, неприятное, ненужное сейчас. Он смотрел напряженно куда-то в пол, затем поднял на Пронякина прямой немигающий взгляд.

— Витя, должен я тебе сказать... Тут следователь ходит, расспрашивает. Ну как ему объяснишь?.. Ты не подумай, что я из-за этого... Я-то отбрешишь. Да я бы сроду к тебе за этим не пришел!..

И Пронякин понял, о чем еще хотел сказать Матвеев, но не посмел.

— Я знаю, Антон... О чём ты говоришь! Следователь... Еще не хватало... Пошлю я его подальше.

Он закрыл глаз. Антон подождал немного и поднялся.

— Я еще приду к тебе, Витя.

— Да... Ступай... Я все скажу...

... Следователь оказался в гимнастерке без погон и с розовым пробором в седеющих волосах. В наши дни так странно видеть человека в гимнастерке и с пробором. "Специально, чтоб перехоть разводить", — подумал Пронякин, глядя на него твердо и прямо. Следователь не стал мучить больного формальностями и, раскрыв на коленях дерматиновую папку, приступил к делу.

— Вы, наверное, знаете, что ведется следствие по поводу несчастного... по поводу того, что случилось с вами?

Пронякин не ответил.

— Есть несколько невыясненных обстоятельств. Если не ошибаюсь, у вас была машина грузоподъем-

ностью в пять тонн... что соответствует по нормам безопасности, установленным для Лозненского рудника, примерно объему одного ковша гусеничного экскаватора.

— Все верно...

— Так. Но есть основания предполагать, что вы везли больше.

Пронякин молчал. Он знал свой ответ наперед и думал вовсе не об этом. Ему было странно и обидно думать, что о том, что делали они с Антоном и что случилось с ним, нужно было врать или отмалчиваться.

— Правда ли то, что я говорю? — спросил следователь.

Пронякин вспомнил лицо Антона в остекленной кабине, его разметавшийся чуб и капли дождя на шее и на тельняшке.

— Нет, — сказал он облизывая пересыхающие губы.

— А вспомните получше.

Пронякин опять вспомнил, как они стояли над забоем после взрыва, и туманное солнце, и синьку, падающую с грохотом в кузов.

— Вспомнил... — сказал он. Следователь склонился к нему. — Там и ковша не было.

Следователь смотрел на него жестко и испытующе. Это был уже не молодой человек, но молодой следователь, он еще не разуверился в теории "силы взгляда" и не учел, что лицо Пронякина наполовину закрыто бинтом и стянуто швами.

— Машинист дал показания, что он насыпал вам полтора ковша.

— Он мог бы и три назвать, — ответил Пронякин не сразу.

Боль опять подкралась к нему и набросилась, захлестывая горло раскаленным ошейником.

— Да ковши-то бывают разные... Можно с верхом насыпать, можно недосыпать — все одно, считается ковш. Водитель же чувствует, сколько он везет.

— Пронякин, — сказал следователь, — почему вы не хотите помочь следствию? Ведь это как будто в ваших же интересах.

— Вы моих интересов не знаете, — сказал Пронякин. — Вы вот что... Вы не спрашивайте... Вы лучше слушайте. На большой-то разговор меня не хватит... Один я во всем виноват. Так и пишите.

Следователь взглянул на него с ожиданием.

— Пишите, мне врать не к чему. Говорили мне... кто постарше: "Не лихачь, ты еще дизель-самосвал плохо знаешь", — я лихачил... Говорили мне: "В дождь не езди"... Мацуев самолично предупреждал, — я ездил. Машинист предлагал мне: "Отсыпь полковша", — не отсыпал... Вот так оно и получилось. Кого же винить, как не меня?

Следователь быстро записывал за ним. Потом он провел рукою по лбу и сказал:

— Я именно так и думал... Простите...

— Ничего, — ответил Пронякин. — Вы вот лучше скажите мне, как там с машиной?

— То есть, что с нею будет дальше? По-видимому, в переплавку.

— Разбита, значит?

— То есть, по-моему, вдребезги... Простите.

... Целый час никто не тревожил его, и он успел отдохнуть, хотя и в одиночку едваправлялся с болью. Время от времени она совсем раздавливало его, тогда он вцеплялся рукою в железный край койки и зажмуривался. Он хотел попросить сест-

ру сделать ему укол и отчего-то не решался ее позвать.

Она вошла зажечь свет и привела за руку гостью, которую он меньше всего ожидал. Гостья остановилась против его постели, в пальто, наброшенном на плечи, и в темном платке, срезавшем половину лба. Это ей даже шло. Она кусала губы и смотрела на него с бабьей щемящей жалостью.

— Почтение вам, — он невольно усмехнулся и тотчас же почувствовал швы на лице. Потом он вспомнил ее имя: — Рита...

— Ничего, вы лежите, — сказала она, точно он мог встать. И прибавила: — я не могла не прийти.

“Во говорит, сразу и не поймешь, — подумал он.

— Не могла, так не приходила бы...”

— Володя Хомяков просил, чтобы я вас навестила... Но я бы и сама пришла, конечно. Мне очень больно, что так получилось. Если бы мы иначе с вами поговорили, когда вы пришли с кусками руды...

Она говорила быстро и проглатывала слова, а потом останавливалась подолгу. Ему было трудно ее слушать.

— Как он вообще... Хомяков?

— Он, конечно, счастлив, что пошла руда... Конечно, если бы не случай с вами.

— Ну, тут уж ничего не поделаешь... — Он помолчал и прибавил: — Вот что...

— Нет, нет, — вдруг перебила она, — не нужно так говорить. Вы не знаете... Вы невольно повторяете то, что говорили противники Курской аномалии. Это их излюбленный тезис: “Аномалия велика и обильна, но она не отдаст в руки человеку своих богатств, она потребует жертв”. Они утверждали,

что нужно подождать, что при современной технике не удастся добыть эту руду, потому что она сильно обводнена, она ревниво хранит свои тайны. И это, наверное, правда. Но вы же вырвали у нее эту тайну. Вы не жертва, вы победитель...

Он не знал, кто они такие, противники аномалии. Все это показалось ему в диковинку. Впрочем, он уже сильно устал. И у него вдруг отчего-то начала болеть здоровая рука, хотя ей-то совсем не попало.

— Глупости все это, — сказал Пронякин. — Баранку не так вертнулся, вот и вся тайна...

Наверное его ответ понравился ей. У нее заблестели глаза. И она смотрела на него с улыбкой и с любопытством, склонив голову набок.

— А вернее, не поберегся я. О себе не подумал... Тут меня и подстерегло, с непривычки... Да ладно, не об этом я хочу...

— И вы сейчас жалеете? — опять перебила она.
— Вы бы второй раз на это не пошли?

— Почему не пошел бы? Только на верхнем повороте дурака бы уже не свалил. — Он помолчал и прибавил: — Я вот о чем хотел... Крохоборства много было в моей жизни. Теперь уж не поправишь.

— Не нужно так говорить, — сказала она, волнуясь. — Зачем вы на себя наговариваете? Я все равно не поверю. Вы жили так же чисто, как и... как и совершили свой подвиг. И вы не дурака свалили, когда ехали с рудой. Вы, наверное, были охвачены порывом, правда?

Он вздохнул.

— Ладно. Пусть будет порыв, ежели вам так нравится. Только мне бы уж не о себе думать...

— Неужели вы думаете, что вам дадут умереть?

Он облизнул губы. Они пересыхали все чаще, и он должен был беречь время и слова.

— Просьба у меня к вам, — сказал он быстро. Наконец-то, наконец-то она слушала его молча. — Тут жена ко мне приезжает... Боюсь, не застанет. Я написал бы, только не смогу.

— Так вы продиктуйте мне, — сказала она поспешно.

— Вы слушайте... Женщина она еще красивая, мужиков около нее всегда хватает... Да она ведь все... на бойких местах... Я уж ее такую застал... Ничего поделать не смог. Так вот, мужиков-то хватает, а жалеть по-настоящему, как я жалел, это навряд ли кто найдется... Вы бы потолковали с ней. Что дальше делать ей... Жить как.

— Но я ведь ее совсем не знаю! Что же я ей скажу?

— Вы и меня не знали... Вы это ей как бы от меня все скажите... Боюсь я, спутается с кем не надо. Я это без резности говорю. Я за нее боюсь...

Она прижала руки к груди.

— Боже мой, но вы же совсем не знаете женщин. Они сильнее вас. Жена может всю жизнь прожить памятью о муже.

— Это моя-то женулька?

Ему вдруг стало и смешно, и досадно. "Экое же ты нескладное существо!" — подумал он. Но это была досада на себя за то, что он тратит время, и слова впустую. Лучше бы он сказал это все Антону. Боль опять подступила к нему, и он закрыл глаза. Он не хотел бы закричать при ней, а она все не уходила.

Наконец он услышал ее голос, как из тумана:

— Может быть, вам хочется уснуть?

— Да, — ответил он, не открывая глаз.
— Я постараюсь сделать, о чем вы просили.
Он не ответил. Она постояла немного и тихо, почти бесшумно вышла, прикрыв дверь.

Вошла сестра и постояла над ним, прислушиваясь к его дыханию, затем погасила свет и ушла. Он открыл глаз и слушал, как ветер, налетая порывами, хлопает форточкой и шумит в мокром лесу, и по-немногу начал задремывать. Но вскоре ему приснилась боль. И ничего другого, кроме боли, в тех же местах и только чуть слабее, чем наяву.

Он знал, что это сон и что, проснувшись совсем, он почувствует боль по-настоящему и, чтобы задобрить ее, старался думать обо всех радостях, какие были у него когда-нибудь. Но ими не так уж богата была его жизнь, да многое и позабылось с тех пор, как он избрал себе профессией наматывать на колесо бесконечную ленту дороги. Дорога отняла у него память. Точнее, она заменила ее. Всегда, если он что-то рассказывал, он начинал: "Как-то раз еду это я..." — но вот куда он ездил и когда это было, он уже не помнил, потому что главным в рассказе была дорога, которая мало чем отличалась от другой дороги.

Но вот он увидел себя в тамбуре вагона, на нем шинель без погон и вещевой мешок режет плечо. Это он после армии едет к невесте. Он держит тяжелый мешок на плече, чтобы не опускать его на заплеванный пол, и всматривается в черное окно, но не видит ни огонька. Два года назад его саперная часть строила здесь железнодорожный мост и станцию, а неподалеку, в забытой Богом деревушке, они и познакомились. Потом часть передислоцировали на север, а она обещала ему присыпать по два

письма в месяц и ждать. Она присыпала их аккуратно и ждала два года, вот он и едет к ней, потому что отец его женился в третий раз, а больше у него никого не осталось.

Он сошел на маленькой станции, где поезд стоял полминуты, и ринулся к насыпи в черную темень. Можно было и подождать до утра в поселке строителей, но он хотел добраться до ее дома к рассвету, пока она с матерью не уйдет в поле. Он шел целый час разъезженной дорогой, извивающейся во ржи. Потом из облаков выступила огромная выпуклая луна и залила всю степь голубым светом. Он пошел быстрее и вскоре почувствовал близость реки. Он навсегда запомнил, как пахла тогда река сочным и молодым запахом осоки и как туман перед рассветом окутывал камыши.

Он стал разыскивать лодочника и нашел его спящим на пороге своей сторожки, хотя ночь была очень свежа. Старик не испугался ночного пришельца, только закряхтел с досады и пошел отвязывать лодку. Старик сел на весла, а Пронякин, увязая в зыбком песке, оттолкнул ее от берега.

— К невесте торопишься? — спросил старик. Он знал всех парней в округе, незнакомый солдат мог ехать только к невесте. — Это чья же она?

— Болдыревых знаете?

— Наташка? Ну как же. Вовремя прибежал.

— Почему это "вовремя"?

Он почуял усмешку, хотя глядел не в лицо старику, а в воду, рассекаемую блестящим веслом.

— Потому, за другого, видно, собралась. Не надеялась, что ли, тебя дождаться.

— Это за кого же? — спросил он небрежно.

— А кто его знает. За Леньку, что ли, Рябова.

— Чепуха, отец. — Он и вправду успокоился. — Леньку она еще сопливым помнит, а видов никогда на него не имела. Мне она верная.

— А я разве чего говорю? — сказал старик. — Разве же я говорю, тебе не верная?

Они плыли, плыли, а потом старик опять спросил:

— Только, может, она и Леньке верная? Обчая, значит...

Лодка ткнулась в берег, и Пронякин выпрыгнул с мешком.

— Толкни-ка, — попросил старик.

Пронякин оттолкнул его лодку, как наваждение.

— Чепуха это все, отец, — повторил он с облегчением.

— Вертаться надумаешь, ори громче, — сказал старик. — Я дослыши.

И растаял в тумане, только волны докатывались и плескались о берег, да скрежетали ржавые уключины.

Пронякин пришел в деревню к рассвету. Сонные собаки пробовали на нем сырье голоса. Возле знакомого дома он увидел одиноко слонявшуюся фигуру и, подойдя, узнал Леньку. Он вспомнил, как говорили, что он отбил у Леньки подружку с детства.

— Ты чего здесь? — спросил Пронякин.

Ленька смутился. Он был щупл и высок, на голову выше Пронякина.

— Здорово, солдат.

— Я спрашиваю, чего здесь околачиваешься?

— Да вот Наташку дожидаю, вместе с бригаду сговорились пойти.

— Никуда она не пойдет сегодня. Жених к ней приехал.

— Да ну, это не ты ли?

— Вот я и есть. Понял? Ну и привет.

Ленька вдруг озверел и сунулся было с кулаками. Но он был все-таки слаб, в армию его почему-то не брали, и Пронякин двумя ударами прогнал его от дома. Ленька отбежал и крикнул ему, срываясь на плач, размазывая по губам кровь:

— Сволочь ты, понял? Я уж год как гуляю с ней, а ты чего сюда явился, тебя тут ждали?

— Вали отсюда! — сказал Пронякин. — Оставил девку на всю деревню, звонарь.

Потом он присел на завалинке — покурить и успокоиться, но вдруг отворилась дверь, и Наташка вышла на крыльце.

— Пошли в дом, вояка, — сказала она, сдерживая смех.

Она была в пальто, накинутом на голубую трикотажную сорочку, и Пронякина сразу покинули укоры совести из-за того, что он бил слабого Леньку. Она пошла в дом, он догнал ее и обнял за плечи.

— Что он тебе говорил? — спросила она, улыбаясь ему через плечо.

— Чепуху мелет. Звонарь он, больше никто.

— Не скажешь мне?

Он замотал головой и наконец поцеловался с нею в темных сенях.

— Намекивал он тебе, что я, мол, гуляла с ним? — спросила она опять.

— Да я уж и думать бросил. Ну, а если б чего и было...

— Ты что? — сказала она, отодвигаясь. — Ты думаешь, я такая?

— Иди давай. — Он подтолкнул ее в комнату и пошел здороваться с ее матерью, которая уже

поднялась ему навстречу, благостная и строгая.

— Слыкали, — сказала Наташка, — чего ваш Ленька про меня распускает?..

— Язык бы ему оторвать, этому Леньке, — перебила старуха. — Виши ли, обидно ему, что за нашей Наташкой бегают, инспектор тут из райфо одно время сватался, а после инженер с поселка, ну вот и мелет почем зря, отваживает.

— Помыться бы мне с дороги, — сказал Пронякин.

Все-таки он немножко иначе представлял себе свое возвращение.

Конечно, в тот день Наташка никуда не пошла, а он, сняв гимнастерку, обошел с ее матерью сад и двор, пришил оторвавшуюся доску на сарае и починил засов на воротах. Он никогда не жил в деревне, но ему приятно вдруг стало чувствовать себя хозяином всего, что он видит.

Он знал, что колхоз у них не ахти какой и вряд ли мог поправиться за два года, да и хозяйство, которое Наташка приносила с собой в приданое, было не ахти какое, но он был с головой и профессией, которая нужна повсюду, а в особенности когда не хватает мужиков, и начинал не на голом месте.

— До свадьбы у нас останешься? — спросила Наташкина мать, поджимая тонкие губы. Она говорила о свадьбе, как о деле решенном.

— Останусь, ежели не прогоните.

— Чего же прогонять-то. Ежели все по-честному у вас...

Весь день они с Наташкой не могли наглядеться друг на друга и бесприницно смеялись, а ночью, когда ему постелили в горнице, он от этого смеха не мог уснуть и ворочался на скрипучем топчане. Он

насилу дождался, пока старуха перестала кряхтеть, и пошел к Наташке, в ее комнату. Она ждала его и ничуть не удивилась.

Они были молоды и не очень щадили друг друга и для начала старательно искровавили поцелуями губы. Но, должно быть, он не так понял ее, потому что когда он совсем захмелел, она внезапно успокоилась и крепко уперлась ладонями в его грудь. И он услышал, как в полусне, ее наставительный шепот:

— Нет уж, Витенька, это уж когда запишемся, а так я не дамся, ты не думай, не такая...

— Что ты? — спросил он. — Я же насовсем пришел.

— Все вы насовсем приходите. А после насовсем уходите. И так бывает, Витенька.

В темноте ее лицо казалось старушечьим. Наверное, когда она и в самом деле состарится, она будет такая же благостная и строгая и научится так же поджимать тонкие губы. Что-то в нем оборвалось, чего уже нельзя было связать, как бы он ни старался, потому что слишком мешали этому старик на перевозе и Ленька. Но больше всех она сама, которая все испортила. Он встал и пошел к себе, наталкиваясь на стулья и мало уже заботясь, услышит ли его старуха. Наташка робко вскрикнула, как бы пытаясь вернуть его, но матери, если б она проснулась, показалось бы, что дочка просто вскрикнула во сне.

Он посидел в темноте, потом оделся, собрал свой мешок и вышел в лунную ночь. Никто не удерживал его. Потом, когда он уже был на улице, за спиной взвизгнула дверь и Наташка крикнула ему с крыльца:

— Ну чего завелся. Сам же потом скажешь...

Он не обернулся.

Он шел быстро, чтобы успеть на утренний поезд. Выйдя к реке, он вспомнил, что надо покричать старику. Ему не хотелось этого делать, но не лезть же было в воду с мешком и в шинели. В конце концов он покричал, и старик выплыл к нему из тумана.

Они плыли молча, только на прощанье старик не утерпел:

— Что же она, Леньке, выходит, верная?
— Не в этом дело, отец. Она себе верная.
— Ага, — сказал старик. — А ты этого, стало быть не любишь?

— А кто любит? Ты, что ли, отец?
— Я? Не-е. Я веселый, вольный человек. А с бабами свяжешься — хуже нету. Мне баба теперь ни к чему, и хозяйство мое не скоро еще кончится. Так и ты живи.

— Попробую. Ну, бывай, отец.
— Бывай, что ж делать-то.

Пронякин шел ухабистой дорогой, извивающейся во ржи, и не мог теперь слышать замирающий запах осоки, сочный и пряный, молодой запах. Он не успел тогда к утреннему поезду и стал дожидаться вечернего. Он выспался на траве под насыпью, а потом в долгом мучительном томлении сидел в буфете и пил пиво, заедая каменными бутербродами, пока буфетчица не сжалилась над ним и не позвала к себе, в крохотную комнатушку позади приставка. Там она варила себе обед и накормила его этим обедом, и тут он впервые ее разглядел. Она была еще молода, но уже знала не одного мужчину, это он видел ясно. Его собственный опыт был куда меньше. Вечером он помог ей закрывать буфет и пропустил свой поезд и остался у

нее, в той же крохотной комнатушке станционного домика.

За окном грохотали поезда, которые здесь не останавливались, и желтые пятна от их огней прыгали по ее лицу и груди. В эти минуты ему отчего-то становилось нестерпимо жалко ее, и он спросил:

— И не надоело тебе вот так?

— Надоело, — созналась она честно. — Знаешь, как надоело! Вся жизнь моя, как проезжая дорога.

Он помолчал и сказал неожиданно для себя:

— Ну так уедем отсюда.

— Уедем? — Она приподнялась на локте и склонилась над ним. Волосы ее касались его лица. — Ты сказал "уедем". Это как же — вместе?

— Ну вместе...

— Постой, — сказала она. — А кто ты мне?

Он не ответил. Но утром, когда она оделась и пошла приготовить что-нибудь ему в дорогу, он уже знал, кто он ей и как назвать ее, он твердо решил это к утру. Она удивилась и, жалея его, рассказывала ему все о себе, но обо всех ее похождениях он знал заранее — и настаивал на своем. Сдаваясь, она упрекнула его — еще с удивленной улыбкой, еще не веря тому, что свалилось неожиданно к ней в руки:

— Увозишь ты меня, а куда — и сам не знаешь. Хорошо ли это?

Он ответил:

— Ехать — всегда хорошо.

И на третий день они уехали и долгие годы скитались вместе.

Он ни разу не раскаялся в этом и никогда не жалел, что не остался тогда у "куркулей", — так он их называл, пока обида не угасла, — хотя какие уж они там были "куркули"! Он мог бы им спасибо

теперь сказать, все вышло к лучшему, встретил такую, какая и нужна ему была. Вот только ничего у нее самой не было, кроме оравы родичей в Горьком, и никогда они ничего не могли нажить, хотя она умела попасть на хорошее место и не плохо заработать. Сначала, когда еще были молодость и любовь, они легко расставались с тем, от чего не пахло ни молодостью, ни любовью, и уходили на другое место, а потом, когда захотелось чего-то еще, этого уже трудно было добиться, потому что вместе с этим пришла усталость. Вернее, они пришли вместе, усталость и желание чего-то еще. И все равно они любили друг друга, хотя он и изменял ей в отъездах, да и она, наверное, изменяла ему.

Теперь, готовясь к тому, что должно было с ним произойти, он понял, что все было хорошо тогда — и лунная ночь в степи, когда он шел к невесте, и молодой запах осоки, и женщина, которая поделилась тарелкой борща, а потом и постелью. Может быть, во всей его жизни только и были два счастливых дня — тот, на маленькой станции, под Камышином, и сегодняшний, когда он поднимался из карьера. Он взял бы все это с собой в последнюю, самую дальнююю дорогу...

Но он не смог ничего взять, потому что услышал далекое фырканье машины и плеск разгребаемой грязи. Машина была легковая и шла от аэродрома. Он догадался, что Силантиков все же завяз, но Хомяков привез врача на самолете, и в нем опять шевельнулась надежда. Затем отсветы фар заплясали на потолке, и машина остановилась. Из нее вышли двое. Они прошли под самым окном.

Он услышал простуженный голос Хомякова;

сквозь приоткрытую форточку долетели обрывки фраз:

— ... о чём я вас прошу... Это замечательный парень... мы завтра о нем в газете... Он верил больше всех... и даже меня, которому... по должности...

— Мне это решительно все равно. — Второй голос был высок и четок. — Имеет ли он пять благодарностей от министра или десять выговоров в приказе. Меня просить не надо.

Хлопнула дверь внизу, и Хомяков, наверное, остался один. Слышались его чавкающие длинные шаги. Потом они захлюпали к машине, и Хомяков спросил кого-то, наверное водителя:

— Ну, как думаешь?..

Но что думал водитель, Пронякин уже не слышал, потому что машина заворчала и отсветы фар исчезли с потолка. В соседней комнате возникла поспешная սւետա, и откуда-то взялся голос маленькой седой врачихи, которая перевязывала Пронякина с помощью сестры. Ему было тревожно и страшно, вместе с надеждой к нему опять подступила боль, и он бы, пожалуй, согласился, если бы оставили его в покое.

Врачиха быстро просунула руку и включила свет, пропуская вперед приезжего хирурга. Он ступал мягко, должно быть надел поверх ботинок войлочные шлепанцы, и сестра завязывала на нем тесемки халата, который был для него тесен. Он морщился и дергал плечом. Он был высок и толст, под халатом обозначалось мягкое брюхо. Не поглядев на больного, он вытянул руки вперед, и врачиха с сестрой засуетились снова. В больнице не было водопровода, его не было еще во всем поселке, и сестра поливала

на руки приезжему из эмалированной кастрюли над тазом в углу.

Вытирая пальцы, он подошел к постели Пронякина и молча уставился на него.

— Ну-с, как мы тут? — спросил он машинально и повесил полотенце на плечо врачихе. Она этого даже не заметила. Он присел на койку. — Вы говорите, пятый и шестой?

— Пятый и шестой, — подтвердила врачиха. Она, вероятно, гордилась немножко, что у нее в практике такой тяжелый случай.

— Глаз тоже поврежден? — спросил хирург. Он еще не прикасался к Пронякину.

— Глаз, к счастью, не поврежден, — ответила врачиха.

— Что же ты так, милый? — спросил хирург и, поморщившись, посмотрел на люстру. — Ну-ка, помогите мне.

Втроем они сняли с Пронякина одеяло, стащили грелки и бутыли с теплой водой и перевернули на живот. Он зажмурился и стиснул зубы. Он не знал, сколько это продолжалось — минуту или час, потому что сразу же зарычал и провалился в лиловую пустоту, как только чьи-то пальцы вошли между фанерным щитом и его затылком. Но даже из пустоты он чувствовал прохладные и неловкие пальцы сестры, торопливые и мягкие прикосновения старой врачихи и сильные пожатия толстых пальцев хирурга. Но странно, именно эти сильные пожатия причиняли меньше всего боли. Точно боль страшилась этих пальцев и бежала от них.

Когда он очнулся, он опять лежал на спине, и хирург смотрел на него. Пронякин видел его одним глазом и не знал, далеко ли он сидит.

— Что же ты, милый? — опять спросил хирург.

Пронякин виновато вздохнул. Глаз ему застилали слезы.

— Так вы говорите — пятый и шестой? Правильно, — сказал хирург. — Правильно, черт возьми.

И, потянувшись к больной ноге Пронякина, вдруг быстро и сильно помял ее. Напряжение отразилось на его лице.

— Больно?

— Н-нет.

— А так? — Он ударил кулаком.

— Тоже нет.

Он и в самом деле не чувствовал боли. Может быть, она и отсюда ушла в страхе перед этими пальцами.

— А пошевели-ка ногой. Сильнее.

Он сделал все, чтобы пошевелить ногой. Он делал это охотно, потому что боль ушла из нее совсем.

— Ничего, — сказал хирург. — Ничего милый, страшного.

Пронякин улыбнулся ему сквозь слезы. Надежда разрасталась в нем и заполняла все тело, из которого уходила боль.

Хирург быстро поднялся и вышел. Полы халата разевались за ним. Врачиха и сестра накрыли Пронякина одеялом и вышли тоже. Они плотно прикрыли дверь.

Они прикрыли ее очень плотно, и тогда хирург спросил, дергая плечом, оттого что халат жал ему под мышкой:

— Сколько ему лет?

— Еще не исполнилось тридцати, — ответила врачиха.

— Н-да. Вряд ли исполнится. Ну что ж, готовьтесь.

- Будем оперировать? — спросила сестра.
- Нет. Будем снимать мерку для костюма.

Он достал из-под халата сигаретницу из карельской березы и антиникотиновый мундштук и вкусно, изящно закурил, выпуская дым тоненькой струйкой из-под пушистых усиков. Сестра взяла с подоконника пепельницу и держала ее в руке, чтобы он не сбрасывал пепел на пол.

— Вы думаете, летальный исход? — спросила врачиха, глядя на него снизу вверх сквозь толстые очки.

Он помолчал и вдруг рассердился:

— Слушайте, какое вам дело до того, что я думаю! Разрежем — посмотрим. Как будто вы сами не видите: уже начался паралич ног, еще час, ну два, и процесс поднимется кверху. Я еще удивляюсь его сердцу. Это просто буйолово сердце, потому что наверняка же задет блуждающий нерв.

— Но я правильно сделала, что вызвала вас? — спросила врачиха.

Он передернул нетерпеливо плечами и сбросил пепел мимо пепельницы.

— Вы все правильно сделали, коллега. Вы просто идеально все сделали. Вы только забыли поставить ему новые позвонки. Сущий пустяк, вы не находите?

Он прошелся по комнате, заложив руки за спину; шлепанцы мешали ему, и он отшвырнул их в сердцах.

— Вы тоже думаете, что врач, живущий в городе, лучше того, который живет в районе? А районный лучше поселкового? Так?

— Простите, — сказала врачиха.

— Да я нисколько не зол, что вы меня вызвали.

Я зол на себя, на всех нас, которые везде одинаковы. Мы одинаково ни черта не умеем. Уж, наверное, он знал свое дело лучше, чем мы. Что там говорить! Бросьте его одного, со всеми его ранами, в степи, в грязи, под дождем, голого!.. Думаете, он не выживет? Выживет. Сам приползет. А если он умрет, так от чего? А? Позвонки! Но вот тут-то как раз и мы ни черта не умеем.

— Может быть, через двадцать лет и это будут лечить? — сказала сестра.

— Утешила! Через двадцать лет никто за здорово живешь не станет ломать себе шею. А впрочем, черт его знает... Ну что вы стоите, как истуканы? Я же сказал: "Готовьте!" Инструменты возьмите мои, в саквояже. И готовьте, готовьте, не будем рассусоливать.

Пронякин не слышал их и ждал, когда они вернутся к нему. Он ждал их с надеждой и страхом и даже обрадовался, услышав, как стукнула дверь внизу. Он не знал, что это Федька с Антоном принесли коньяк, за которым они ходили за восемь километров в Лозню, и решил, что его до утра оставят в покое.

Но дверь отворилась, и вошла сестра. Она включила все лампы в люстре и улыбнулась Пронякину дрожащей улыбкой. За нею вошли врачиха и санитар с носилками, тяжелый и длиннорукий, с просьдью в рыжих усах и кудлатой пепельной головой. Он кашлянул в кулак и подошел к постели Пронякина. Втроем они стали перекладывать его на носилки — очень бережно и потому очень долго. А когда он снова пришел в себя, он уже лежал на столе, на боку, накрытый простыней, и потолок качался над ним. Сестра подняла шприц к свету и выплеснула

несколько капель. Потом врачиха отобрала у нее шприц. Потом он увидел хмурое лицо хирурга, который подходил к нему, подняв руки, облитые желтым лаком перчаток.

И Пронякин вздохнул, закрыв глаза, и вытянулся, готовый ко всему на свете, готовый опять провалиться с рычанием в лиловую пустоту.

9

А среди ночи он проснулся с тревожным ощущением, что с ним сейчас, вот через минуту, что-то произойдет. Это ощущение было сильнее, чем свежий надрез на затылке, и отчасти знакомо ему. Как будто он на вечеринке хватил лишнего и почувствовал себя скверно, и надо побыстрее, пока еще что-то соображаешь, выбраться — через стулья и колени соседей — на свежий воздух, иначе потом не обрешься стыда. Но тут опять боль взялась за него и не отпускала. Он хотел позвать сестру и не мог позвать, потому что перехватило дыхание.

Вокруг была темнота — наверное, все ушли и плотно прикрыли дверь, — и он не понимал, откуда берутся голоса, которые доносились к нему глухим бормотанием. Он догадался, что их там трое: сестра, врачиха и еще как будто та девочка, что работает на отвале; она теперь что-то рассказывала им, а они расспрашивали. Ее голос был самый звонкий, но она проглатывала слова, и он различал только свое имя. Но по тому, как она говорила и как дрожал ее голос испугом, сожалением и затаенной, стыдной для нее самой радостью, он понял, что она рассказывала им, как он не взял ее с собой в карьер.

— Треплются бабы — сказал он самому себе, мысленно усмехаясь. — Надо же бабам потрепаться.

Дыхание опять вернулось, и, должно быть вернулся голос, но он не стал звать сестру. Боль начала утихать. И он понял вдруг, почему молоденькая сестра боится остаться здесь одна этой ночью. Он был уже слишком обессилен, чтобы эта мысль могла его потрясти или напугать. Кто-то из них встал и вдруг оказался очень близко, и он нарочно старался дышать громче и ровнее; ведь они, наверное, хотели слышать его дыхание.

Они опять забормотали там, за глухой стеной, но он уже не прислушивался к их разговору, он прислушивался к тому, что происходило в нем самом. Если б он мог увидеть сейчас свое лицо, он бы узнал, что трудная складка возле его рта наконец разгладилась.

Ну что ж, они для того и оставили тебя, чтобы ты побыл один, если уж все равно ничего не поделаешь. Подумай, ведь ты и работу выбрал себе такую, чтоб быть одному в кабине, наедине с машиной и дорогой. Так и теперь случилось. Но если ты жил, хотел и добивался, если ты что-то делал и любил то, что ты делаешь, и кому-нибудь становилось от этого теплее, тогда ты можешь умереть один, в темной комнате, не сказав никому ни слова прощания или раскаяния. Тебе случалось видеть, как умирают, да и рассказывали об этом достаточно, и, право же, в этом ничего красивого не было. К тому же все они говорили какую-нибудь чепуху. "Сухо" или "Давит, братцы..." Только один сказал что-то хорошее: "Вот лето придет, к морю поедем", — да и тот, наверное, бредил. Это ведь уже не слова, а так, болтание слабеющим языком, голова тут ни при чем, и

жизнь тоже. Ну так и не зови к себе никого, ты только напугаешь их, а завтра все будут на разные лады повторять и перекраивать то, что ты вовсе и не хотел сказать...

Так или иначе думал он, в одиночку справляясь с болью.

А в комнате над ним горел яркий свет, очень яркий сейчас, потому что его давно уже выключили во всех домах поселка, и люди находились рядом — врачиха, сестра и приезжий хирург, и не было никакой девочки, что работает на отвале, — они сидели вокруг, не сводя с него глаз и прислушиваясь к его замирающему дыханию.

Но он не видел и не слышал их, хотя они разговаривали громко. Он видел и слышал свое.

Ветер опять шумел в мокром лесу и хлопал форточкой о косяк, где-то близко прошла по грязи машина, косые отсветы фар заплясали на стенах, ломаясь на потолке. Потом стихло, и чей-то охрипший голос сказал: "Ну, кажется, все... теперь не остановишь".

Внезапно кто-то невидимый рванул койку и приподнял ее на метр от пола. Пронякин схватился за край ватной рукой и тут же потерял эту руку. У него снова перехватило дыхание. И сильно зашумело в ушах. Но он почувствовал отчетливо, как вся комната, где бродили отсветы фар, повернулась и начала кружиться, как это бывает в сильном опьянении. И только кровать висела неподвижно. Но потом и она закачалась, как на волне, когда лежишь в носу лодки и смотришь в небо.

И вдруг она поплыла вперед, как лодка, и бесшумно преодолела пределы комнаты. Подул ветер, и тьма начала проясниться, приобретая серо-голубой

цвет глины в карьере. Он плыл, покачиваясь, в эту даль, над мокрым лесом и над дорогой, петляющей по склону, и ему становилось все легче, все спокойнее, уже почти исчезло воспоминание о боли, когда началось мучительное падение. Его ничем нельзя было остановить, не за что схватиться, а земля стремительно приближалась, разрастаясь к горизонтам, и казалась все тверже, все страшнее. Он молил теперь об одном: чтобы его отнесло на деревья и чтоб ветви ослабили удар.

Вдруг чей-то голос, гулкий, будто в длинной трубе, закричал внизу:

— Падает, падает пульс... Вы чувствуете?

Он чувствовал только, что его несет на деревья, и обрадовался. И это было последней радостью. Потом что-то прохладное, шелковистое окутalo ему лицо, и он подумал, что это листья, холодные и трепещущие от ветра.

10

В тот день, когда серый почтовый вездеход-”фургон” увозил Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, в тот день пошла наконец большая руда.

Ближе к рассвету подул сильный восточный ветер, который подсушил глину и разогнал облака. Ранним утром показалось солнце, впервые за эти дни предосенних дождей; оно заискрилось в огромных лужах, подернутых мельчайшей рябью, и склоны карьера покрылись толстой потрескавшейся корой. К забою, где работал Антон, приползли еще четыре экскаватора, которые два часа кряду, насту-

пая, расширяли пятак открытоого рудного тела. Шпур, заведенный на глубину в пять метров, выбросил взрывом чистую руду.

Тогда в карьер по бетонке, старательно расчищенной бульдозерами, спустилась первая смена самосвалов. А еще через полчаса первая машина — самосвал Мацуева — показалась в выездной траншее. За ним шли Косичкин, Меняйло, Выхристюк, Федька Маковозов и водители других бригад, которые пока оставили вскрышу и перешли на вывоз руды. Их провожали глазами тысячи жителей поселка, облепивших берега и склоны карьера, крыши экскаваторов и фермы кранов. Маленький самодеятельный оркестр ударил во всю мощь молодецких легких, и на радиаторы первых машин посыпались охапки цветов.

Выехав из траншеи, Мацуев по привычке повернулся к отвалу, но ему со смехом указали новый путь сотни людей, стоявших шпалерами вдоль шоссе. И машины повернули к лесу, за которым высились корпуса дробильной фабрики. В одиннадцать часов была разрезана ленточка, и загрохотала щековая дробилка.

Шла большая руда, брызнувшая фонтаном из вспоротой вены земли. Она переполняла ковши экскаватора и кузова машин и неслась, летела по шоссе бесконечной вереницей ревущих самосвалов. С двух сторон подъезжали они к опускному колодцу, упираясь колесами в деревянный брус и поднимая кузова, и руда, разом дрогнув, срывалась и падала, падала в разверстое жерло бункера. Она высекала искры из стальной обшивки, и в темной глубине медленно подскакивали многопудовые глыбы, прежде чем улечься на зубья транспортеров.

Солнце, пробиваясь в щели навеса, сияло на оловянных медведях, и кузова, испачканные бурой пылью, горели, будто кованые из червонной меди.

Шла большая руда, и где-то внизу, на глубине в десять метров, попадала в щековую дробилку, которая с хрустом размалывала и перетирала многопудовые глыбы, двигая справа налево гигантскими челюстями. Оттуда, из темной пыльной глубины подземелья, резиновая лента, похлестывая на катках, несла ее наверх, на галерею, откуда она должна была трижды низринуться в конусные дробилки и трижды подняться снова, чтобы в последний раз пропасть мелкой бурой крупой в подставленную платформу эшелона.

А в четыре часа пополудни паровоз, украшенный цветами и кленовыми ветками, дал торжествующе-долгий гудок и потащил первые двенадцать вагонов лозненской синьки. Люди шли за ними вдоль полотна, а потом и по шпалам, и бросали цветы и ветви, расставаясь с вагонами, пропадавшими за поворотом в лесу.

Впереди толпы шел молодой и высокий парень в бостоновом пиджачке внакидку, в кепке, надетой козырьком назад, и пел, выкрикивая слова, нещадно мучая струны покоробившейся гитары; на лбу и на шее у него, напрягаясь, багровели жилы:

Двери славы! Ах вы, дверцы узкие...
Но как ни были бы вы узки,
Все равно войдем мы все, кто в Курске,
Ах, добыва-ал железные куски!..

Девчата висли у него на локтях и подпевали, смешили заглядывая ему в лицо:

А судьба моя —
Судьба завидная.
Притянула меня
Земля магнитная!..

Маленький паровоз непрестанно гудел утробным басом и мчал руду в южнорусскую степь, мимо тенистых рощ, перелесков и хуторов, мимо полей, речек и лугов с задумчивыми коровами и собаками, подбегавшими к насыпи с бесшумным лаем, мимо шлагбаумов и дорог с пыльными навьюченными машинами и девчат, спевающих песни в деревнях, настоящих предвечерним покоем.

Шла большая руда, и шофер, который вез Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, очень торопился. Он должен был сдать тело, а потом еще заехать на фильмобазу и заполучить картину поновее, пока не расхватали другие рудники и заводы. А дорога была вся в рытвинах и величавых лужах, обыкновенная "грунтовая средней проходимости". Иногда машина застревала в грязи, и тогда он вылезал, брал лопату и, стараясь не глядеть в кузов, швырял под колеса подсохшую землю с обочины. При этом ругался он почти шепотом.

На повороте к Симферопольскому шоссе ему повстречалась старая кофейная "Победа" с шахматным ободком, тяжко переваливающаяся с боку на бок. Они поравнялись и стали дверца к дверце.

— Друг, — сказал водитель такси в фуражке с "крабом". — Лозненский рудник знаешь?

— Сам оттуда.

— А далеко ли?

— Гляди прямо, — сказал водитель "фургона", не

обирачиваясь. — Деревушку на горушке видишь?
С церковью.

— Ну?

— Ну так это Лозня. До нее по-человечески восемь, а по спидометру все пятнадцать. Чуешь? А до рудника еще семь. Там покажут добрые люди. Четыре кирпичных блока, десять бараков, осталось — "шанхай". Это и есть Рудногорск.

— Дорожка, значит, того?..

— Скатерть! — сказал водитель "фургона". — Обрати внимание на мои борта.

В машине сидела женщина. Сквозь стекло ему видно было, что она едет с вещами и что ей тесно среди этих вещей.

Женщина опустила стекло и выглянула. Она была красива бойкой красотой парикмахерши и продавщицы. Но если бы он посмотрел внимательнее, он бы заметил усталость в ее глазах и морщинки вокруг чуть припухших губ, какие бывают у добрых женщин.

— На работу? — спросил водитель "фургона". Женщина ему нравилась. Он с удовольствием сел бы на место водителя такси и уступил бы ей свое место.

— Да еще не знаю, — сказала женщина. — Пока к мужу. Он у вас на "МАЗе" работает.

— К мужу? — спросил водитель "фургона". — Тогда другое дело. Везет же кому-то!

Он совсем не хотел ей польстить, он просто очень хотел работать на самосвале. Но женщина кокетливо улыбнулась и тронула рукой мелко завитые волосы.

— Праздничек сегодня у вас? — спросил водитель такси. — По радио-то нынче объявляли.

— Ага, праздничек. — Он, не отрываясь, глядел на женщину. Она опять улыбнулась ему.

— Шумят небось? — спросил водитель такси. — Гуляют?

Водитель "фургона" пожал плечами, холодно заметил:

— Кто и погуляет...

И отпустил педаль сцепления. Шла большая руда, и он торопился и не хотел вдаваться в подробности.

11

Подробностей этой истории не было и в газете, которая как раз поспела к митингу. На первой полосе был помещен большой снимок бригады. Они улыбались. И Пронякин улыбался тоже. Но он улыбался другой улыбкой и был неловко подверстан к плечу Мацуева, потому что клише пришлось изготовить со старой фотографии Пронякина, которую Антон разыскал в его тумбочке. На этой фотографии он был в новой шляпе, которую, конечно, отрезали, а вместо нее подретушировали прическу, отчего он и вышел на снимке жгучим брюнетом. Этот номер хранится у многих в Рудногорске, и очень юный брюнет в модном галстуке, с папироской в углу рта, странно выделяется среди комбинезонов и ватников.

И мало кто помнит его таким, каким он был в тот сентябрьский ветреный день, когда он стоял на поверхности земли, над чашей карьера.

1961

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эта повесть написана 29-летним автором в лучшую пору „оттепели”; перечитывая ее сейчас совсем другими глазами, я не нахожу, что в ней поправить, обогатить последующим опытом; запечатленная в ней иллюзия времени, на мой взгляд, не менее ценна и поучительна, нежели мудрость позднейшего отрезвления.

„Через двадцать лет никто за здорово живешь не станет ломать себе шею”, — так говорит один из персонажей, подводя итог жизни и смерти Пронякина. И, подумав, добавляет: „А впрочем, чёрт его знает...”

Двадцать четыре года спустя я точно знаю — не станут.

Участь Пронякина тогда представлялась отчасти и жалкой: ну можно ли ставить голову на кон ради ковша руды, пусть даже и самой богатой в мире, пусть даже и первой на всей Курской Аномалии? И отчего с такой страстью прилепился он к развалившемуся „мазику”? И что хорошего нашел в убогом проплеванном Рудногорске, с которым бесповоротно связал свои надежды и планы? Теперь, когда на какой-нибудь БАМ или КАМАЗ гонят по спецнабору, заманивают двойными и тройными окладами, апельсинами и дублёнками, та участь кажется мне

даже величественной. И я спрашиваю себя: неужели такое было? Разве могло быть?

Но ведь нашему народу немного и надо. Посвети ему солнышко благих перемен, повей ему только запах свободы, исполнись для него хоть одно из обещаний и обещаний и обещаний, хоть малое послабление от нескончаемых тягот, — и вот уже энтузиазм, и песни на вокзалах, и поезда увозят романтиков осваивать азиатскую целину или Алтайские горы, и люди так просто ломают себе карьеры и шеи, мечтают о новых городах, построенных своими руками, засыпая у костров и кормя собою таежного гнуса.

Но — „единожды солгавши, кто ж тебе поверит”. Так — после сталинского великого ГУЛАГа — можно было поступить с народом только раз. Вторично обманутая вера — уже не воскреснет. В эти двадцать четыре года как раз уложились: закат хрущевской нервической реформации, тупая и медленная брежневская давильня, андроповская опричнина и судорожные его довороты гаек с давно сошедшей резьбой, теперь — безличностное монгольское царствование Черненки... Радетели наши вдоволь и всласть потрудились на ниве народолюбия, чтоб истоптать робкие подснежники до корней, вытравить всякую поросль, все синенькое и зелененькое сделать одинаково серым. Никак не устанут они совершенствовать человеческую породу, добиваясь немыслимого — чтобы и личностей не было, и великая держава была, и подвиги совершились. И все кажется им — достаточно только вырезать „фронтирующий элемент”, и остальное — уладится. Но ничего безнаказанно отторгнуть от тела нации нельзя. Когда из Москвы гонят в бессудную и бессрочную ссыл-

ку неугодного академика, а где-нибудь в Сызрани или Хабаровске кривая алкоголизма еще набирает крутизны, в этом не видится никакой связи, но почему-то оба эти процесса происходят одновременно... И вот нелепый энтузиаст Пронякин глядит на меня точно с другого берега — живым анахронизмом, вехою времени, отлетевшего навсегда.

Однако ж „Большая руда” — не только иллюзия, она еще и трагедия, а значит — и некое предвидение, прозрение. И в этой связи по меньшей мере два неосновательных представления об этой повести я хотел бы здесь оспорить. Одно из них состояло в том, что судьба ее в СССР сложилась более чем благополучно, что она стала бестселлером, т. е. издавалась многократно. Действительно, переведенная на 17 языков, поставленная в кино, в театре, на радио, на телевидении, удостоенная 120-ти статей и рецензий, бесчисленно упоминаемая, эта повесть, казалось бы, и не могла иметь другой судьбы. Однако, не считая публикации в „Новом мире”, она издавалась всего дважды, с разрывом в десятилетие, тиражами вовсе не колоссальными для самой читающей страны мира... Все же власть предержащим не откажешь в проницательности: спинным ли мозгом, или гипоталамусом, они чувствовали — что-то там было „не то”. Самые доброжелательные не понимали, почему герой погибает, и требовали „оживить” Пронякина; на свете ведь много людей, не подозревающих, что смерть — еще не худший исход. Коротко сказать, „Большую руду” не приняли, а — стерпели. Еще не хотелось ругаться с Твардовским, недавно принявшим тогда „Новый мир”. Не хотелось портить кампанию любви к молодым. К тому же учли, что перелицованные тексты инсценировок и сценариев име-

ют, в конце концов, мало общего с самой повестью, даже скорее уводят от нее в сторону, и способ избрали, ввиду либеральных веяний, пристойный: автора — похвалить, читателя — не разворачивать.

Другое представление было — насчет „попадания в точку”. „Большая руда” многим казалась случайностью, с неба свалившимся подарком — в виде удачного сюжета, или случая, выпавшего молодому критику во время его командировки за очерком. Мне даже неловко доказывать, что ничего случайного в литературе не бывает, лестные для автора тогдашние разговоры, что он как бы миновал период ученичества, — это лишь комплименты, до „Большой руды” я перепробовал многие жанры; попросту больше мне повезло с литературно-критическими статьями, которыми я даже составил себе некоторое имя. Что же касается моей командировки на КМА, во время нее ровным счетом ничего особенного не случилось, никакого сюжета мне не выпало, историю горемыки-шофера я выдумал от начала до конца, вложив в нее весь предыдущий личный опыт, — разумеется, не шоферский, я тогда не водил машину, — гибель же Пронякина возникла из общего трагического ощущения Курской Магнитки как Молоха, перемалывающего людские судьбы, и еще — от ощущения зыбкости наших благих и, казалось, необратимых перемен.

Что мне исключительно повезло, казалось даже такому зреющему, оригинальному мастеру, как Василий Шукшин, который своим друзьям говоривал с досадой, что это он должен был написать „Большую руду”, — точно бы она лежала у всех на дороге, и надо было лишь догадаться ее поднять. Увы, никто никогда ничего ни за кого не напишет, как не напи-

сали „Верного Руслана” двенадцать авторов, которым казалось, что они владеют необычайно выигрышным бродячим сюжетом, на самом деле — моним. Однако мысль об упущененной им находке беспокоила Шукшина, по-видимому, до самой смерти. Своей лебединой песнью, „Калиной красной”, он откровенно соперничает с „Большой рудой” — нарочито сближенная фамилии: Пронякин — Прокудин, назначая герою ту же профессию шофера, в наш век всем понятную и библейски простую, как на заре цивилизации — пастух, рыбак; пронякинские путевые ориентиры — яблоньки — преобразились в березки, ориентиры символически жизненные; о сходстве-соперничестве говорит и решительность, с которой герой связывает себя со случайно встреченной женщиной. Слава Богу, Шукшин создал совсем другое, даже прямо противоположное. Его личный опыт, вылившийся в Прокудина, состоял в невозможности быть одному, оторваться от мафии — „малины”, с которой связывает прошлое и неоплаченные долги. Пронякин же никому ничего не должен, ни с каким сообществом людей не связан ничем — разве что смутно чувствуемой потребностью приобщиться; одиноким является он и одиноким уходит в свою смерть (в чешском переводе повесть и называлась „Кто ездит один”), даже не видя в этом особенной трагедии, находя всему оправдание...

Сдается мне, „Большая руда” так и не была понята до конца в свое время, когда о ней столько говорили и писали. Простая немудрящая история — а сколько недоумений вызвала у нашей многоопытной критики, равно и печатной, и кулуарной. Сколько ярлыков вешалось на Пронякина — побывал он и

„летуном”, и корыстолюбцем, и штреикбрехером, и прямым потомком хемингуэевского Гарри Моргана („Иметь и не иметь”), и „героем нашего времени”, и „человеком из будущего”, – но, как справедливо заметил Лев Аннинский, лучший из моих критиков, „ ярлыки болтались на его тени; теней было столько, сколько точек отсчета, сам же Пронякин неуловимо ускользал от исследователей”. Сам Аннинский четырежды подбирался с анализом к „Большой руде” и вот на чем утвердился окончательно: „Человек, осознавший себя личностью, либо ломается, либо ломает себе шею”. Это – энергичная дилемма, но не еще ли один ярлык на тени?..

Труднее же всех отчитаться в своем замысле – автору. Недаром же Бальзак приравнивал авторский комментарий к честному слову гасконца. Единственное, что может автор сказать определенного – чем ему дорог его герой. Мне в Пронякине дорого то, что рассчитывает он лишь на себя, на свои силы и умение, что, погубленный близкими, он никого из них не винит, никому не бросает упрека, одному лишь себе. В этом уже есть проблеск надежды: значит, ему – дано. И дано – свыше. По темноте своей атеист, не задумывающийся о Боге, он несет в душе искру с небес, а это в человеке – неискоренимо, ибо земной власти не подлежит.

Мы связываем наши надежды на кардинальное обновление в России то с позицией Запада, то с трезвыми „голубями” в правящей верхушке, то с внутренними скрытыми силами – такими скрытыми, что сами о себе не ведают. Не мне знать, сбудется ли хоть что-то из наших надежд и скоро ли. Но – выдвигается из туманной мглы глазастое, заляпанное грязью рыло самосвала, натужно ревет мотор, рус-

тованные шины упрямо жуют дорогу, и сквозь мокрое стекло смотрит водитель, улыбающийся себе самому. Для чего-то нужно ему позарез вывезти этот злосчастный ковш, и ради этого снова и снова поставит он голову на кон.

Не потому, что за это — награда. А потому, что сам он, как кажется мне, человек на все времена.

Г. Владимов

Июль 1984. Зандфорт, Голландия.

СОДЕРЖАНИЕ

Большая руда	5
Послесловие автора	149

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА

Верный Руслан

1981, 2-е изд., тверд. переплет, 176 с.

Повесть о трагической судьбе собаки, служившей в конвое, после распуска лагерей отпущенной на волю, но до конца жизни оставшейся вернойвшему ей людьми долгу. Проникнутая огромной болью и величайшим гуманизмом, отличающаяся глубиной и своеобразием жизненной философии, написанная подлинным художником слова, эта повесть по праву займет место в первом ряду лучших произведений мировой литературы.

„Не обращайте внимания, маэстро”

1983, карм. форм., 72 с.

В заглавии этого рассказа Георгия Владимирова – строка из песни Булат Окуджавы. Подзаголовок – „Рассказ для Генриха Белля”. Сюжет – осада квартиры писателя органами КГБ – взят из жизни самого Владимира, автора „Верного Руслана” и „Трех Минут Молчания”. Это художественное произведение хорошо дополняется несколькими открытыми письмами Владимира – основными вехами его пути свободного писателя в несвободном государстве.

Три Минуты Молчания

1982, 408 с.

Эта книга возникла из опыта плавания автора простым матросом на рыболовном траулере 849 „Вседник” по морям Северной Атлантики. Роман был впервые напечатан А. Твардовским в „Новом мире” (№ 7, 8, 9, 1969). Только через семь лет – вскоре после выхода на Западе „Верного Руслана” – он вышел книгой в изд. „Современник”. Однако поправки и изменения в тексте, сделанные автором для книжного издания, а также „выгрызенные” цензурой места, не были внесены и полный текст был выпущен в изд. „Галливер” лишь по-французски (1978). Сейчас он впервые вышел по-русски.

Отзывы на эту книгу
просим посыпать по адресу издательства:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt a. M. - 80

